

Константин Держаченко



«ЗАГРАДИЛОВКА»

ПОВЕСТЬ

Глава 1. ВСТРЕЧНАЯ

Касимов вошел четвертым, притворил дверь и подал пакет. После вокзального шума, сутолоки, непроходимого сплетения людей, мешков, корзин, чемоданов, густого махорочного тумана, острых запахов пота и дезинфекции – кабинет поразил Касимова тишиной, опрятностью и уверенно-спокойной деловитостью.

Стопки телеграмм на столах, длинные, как простыни, листы графиков с разноцветными линиями и цифрами, блокноты-семидневки, исписанные вдоль и поперек, телефоны с глухими звонками, темные шкафы и стулья, стандартный диван с вырезанным на его спинке шифром «Оренб. ж.д.», большая карта путей сообщения в простенке между окнами – все это, на первый взгляд, казалось предметами сугубо мирного рабочего обихода обычного начальника станции.

Между тем вот уже второй год в этой обстановке дневал и ночевал невысокий человек в военном кителе, с бледным узким лицом, серыми усталыми глазами, аккуратным зачесом редких волос, маленькими, почти женскими руками и приятным, ровным голосом. Через этот кабинет шли все нити управления сложным хозяйством станции Актюбинск и ее железнодорожного участка.

Военный вскрыл пакет, бегло прочел направление военкомата, мягко, приветливо улыбнулся и поднялся, внимательно оглядывая стоящих перед ним людей:

– Будем знакомы. По службе – военный комендант старший политрук Елисеев, вне службы – Сергей Николаевич. Который из вас Крохмалёв?

– Я, – лихо отковырял молодой круглолицый младший командир и одновременно сдвинул ушанку с правого уха на левое.

– Фронтовик?

– Так точно, товарищ старший политрук. Ранен в ногу у Харькова. Долечиваюсь на ходу.

– А ты – Величко? – повернулся Елисеев к щуплому смуглому украинцу в длиннополой кавалерийской шинели.

Тот удивленно улыбнулся и кивнул головой:

– Як же вы сгадалы, товарищ старший политрук, що я самый Вельчко?



– Я и гадать не стал, это здесь в направлении сказано: Н. Е. Величко. Смотрю – где эта невеличка-птичка, а тут вот и ты как раз под мерку. Где пальцы потерял?

– Та не вси ж, ось бильший ё и манесенький ё. А других немає. Пид Днипром миной як жухануло, ось тут я их и не бачил. Ще цею шинель по рукаву распоролу, так то дюже жалко, бо добрая шинель була, а тут ось яка латка приляпана.

Величко с сокрушенным видом посмотрел на громадную заплату вдоль почти всего рукава и добавил:

– Со строю тоже сняли, ось це пуще жалию, бо дюже гарна часть моя – минометчики. Як мы «самовары» свои понавтыкаем, та як жуханем залпом, та ось ще подбавим трошки, та як понаддадим, аж пот тикет, а вытирать нема чем... Пальцев та нема...

Елисеев дружелюбно похлопал его по плечу:

– Ничего, Невеличка, у меня довоюешь. Тут, брат ты мой, хоть мины и не жухают, а тепло будет не хуже, чем под Днепром. Мирошенко кто?

– Я буду Мирошенко, товарищ начальник...

– Товарищ старший политрук.

– Извиняюсь, значит, товарищ старший политрук.

Елисеев неприязненно осмотрел длинную нескладную фигуру в шубе с лисьим мехом, вылезшим из отворотов, в щегольских сапогах и добротной кубанке с темно-синим верхом. От фигуры веяло сытостью, духами и нерушимым благополучием.

Мирошенко снял кубанку, прижал ее к животу и отвел глаза в сторону:

– Дозвольте сказать, товарищ нач..., виноват, товарищ старший политрук, я у вас, по всей видимости, временно, потому что служить я не могу, это не моя профессия, если можно так выразиться. Я по торговой части, и по причине косоглазия на военную службу непригоден. Я и военкомату доказывал на факте насчет глаз, а они говорят: «Тебе Елисеев зрение выправит, он и не таким выправлял». А я говорю: «Не смогу я в этапно-заградительную комендатуру, у меня с детства такие глаза». Может быть, товарищ старший политрук, вы меня лучше к вашему продпункту приспособите? Я могу и отзыв от своего заведующего вам представить, чтобы меня, значит, по специальности...

Елисеев нахмурился и резко перебил:

– Мне не бумажки нужны, а люди. Не по бумажкам ценить буду, а по работе. И боюсь я, товарищ Мирошенко, что на продпункте тебе зрение помешает. Ну а если в «заградилровке» не справишься, не обижайся. У меня характер не по улыбке. Мне его финские морозы, лед да гранит в тридцать девятом году, как сталь, отполировали. За него жалость не зацепится. Ну и последний, значит, Касимов? Почему небритый? Почему форму смешали: буденовка, шинель, брюки на выпуск и ботинки с галошами? Сколько лет?

– Сорок, товарищ старший политрук.

– Рано седеете, рано.

Касимова смутило и это, отличное от прочих, обращение на вы, и сухость тона, и замечание за внешний вид. Покраснев, он все же выдержал прямой, уже смягчающийся взгляд Елисеева и по глубоким морщинкам около глаз понял, как нелегко этому подтянутому, вечно занятому человеку. Отводя уже готовую вспыхнуть обиду, Касимов старался повернуть мысли в другую сторону. Обращение на вы, пожалуй, естественно к нему, как к самому старшему из всех. Замечания по

существом правильны, особенно если посмотреть на гладко выбритое лицо самого Елисеева, на его белоснежный подворотничок, на старенькую, но безукоризненно выдержанную форму. А сухость тона это, скорее всего, лишь отголосок разговора с Мирошенко. Разговора, оставившего явно неприятный осадок и у Елисеева, и у самого Касимова. Нет, Касимов определенно не мог отнести все это к преднамеренности, и обида утасла, не разгоревшись.

Елисеев уже стоял у карты и, обведя тонким пальцем большую площадь на западе Казахстана, остановил его на Актюбинске:

– Мы здесь. А что у нас под боком, на всем вот этом куске земли? Нефть – для фронта, номерной завод – для фронта, солидная металлургическая стройка – для фронта; аэропорт, летная школа, госпиталя, пашни, скотоводство, наша станция, наш участок и, конечно, мы с вами – все это для фронта. Не по-плакатному, не для вида, а для дела. Отсюда и мои требования: спайка, выдержка, честность, правдивость, зоркость, охотничий слух и, как ни странно, – вежливость. Война огрубела многих, для многих грубость – удобная ширма. Будут целиться в морду – вежливо заслонись, будут ругать в семнадцать этажей – вежливо ответить, будут звать тыловой крысой – вежливо смолчи, будут совать взятки – вежливо ухвати за воротник и ко мне, будут интересоваться движением эшелонов, дислокацией промышленности – вежливо удержи и – в НКВД к Байтасову. И, главное, не отрывайся от народа, чувствуй его локоть около себя. Без народа ты – одиночка, ноль без палочки; с народом – сила. Будет трудно? Да, товарищ Мирошенко, будет труднее, чем по твоей торговой части. Трудно будет, друзья, ох, как трудно. И вот когда будет невтерпеж – приходите ко мне. Днем, ночью, сюда, домой – в любое время. Плакать в жилетку не дам. А рука у меня хоть и мала, но поддержит. Ошибешься – скажи, скроешь ошибку – не обижайся, целоваться не стану. Люди через вас, через «заградилровку» будут идти грязные, темные. Вот почему вы все должны быть чисты, как стеклышко, на глаз, на руку, на совесть – на все. Жить переселяйтесь к самой станции, кормить будут на продпункте, выходных дней у нас нет, не взыщите. Сейчас – в столовку, заправьтесь, а через час буду инструктировать. Все. Вопросы есть?

Глава 2. МАРЬЯН СИМАКОВ

Трудности навалились все сразу, без всякой очередности. Касимов только теперь начал понимать, что этот день и ночь бурлящий котел способен выварить из тебя все соки так же, как самая жаркая схватка на передовой линии фронта.

С запада на восток шли эшелоны с эвакуированными; поезда, забитые беженцами; длиннейшие составы с оборудованием будущих заводов, меняющих место своей, временно приостановленной, жизни; нефтяной порожняк; военно-санитарные молчаливые свежевыкрашенные вагоны с красным крестом на борту.

На запад «глаголем» неслись теплушки с разноликими, разноголосыми затрашными фронтовиками; платформы с массивным грузом, затянутым брезентом; полновесные нефтяные цистерны; порожняк с красными крестами и пассажирские поезда, по существу своему почти ничем не отличающиеся от воинских эшелонов: так густо они были забиты шинелями, френчами, кителями, что вольная гражданская одежда терялась в них, как иголка в сене.

Девять товарно-пассажирских путей станции и два специальных воинских освобождались только для того, чтобы через пятнадцать – двадцать минут принять очередной состав с востока или запада. Касимову казалось, что рельсы всегда были теплыми от этого непрерывного движения.

Самым трудным было патрулирование среди движущегося потока вагонов, платформ, цистерн. То попарно, то в одиночку, стараясь не терять зрительной связи, Касимов, Крохмалёв, Косой и Невеличка проверяли эшелоны. Одни задерживались ровно настолько, чтобы сменить паровоз, и летели дальше, другие словно срастались с актюбинскими рельсами и томились сутками, пропуская более срочные составы.

Со скрипом притормаживали и трогались эшелоны. Со скрипом налаживалась жизнь этапно-заградительной комендатуры, день за днем расширявшей круг своей работы. Проверка эшелонов и пассажирских поездов, патрулирование перрона и привокзальной площади, проверка документов в главном зале и во всех закоулках вокзала, выдача хлебных талонов одиночкам военнослужащим. Надзор за дисциплиной, за соблюдением формы. Проверка продаттестатов, просроченных в пути, отправка отставших от эшелонов новобранцев, вылавливание дезертиров и подозрительных лиц, разбор многочисленных жалоб, помощь в посадке на битком набитые поезда, учет задержанных и тысячи других дел, не предусмотренных никакими инструкциями, приказами, наставлениями.

Многое требовало разъяснения, уточнения, вмешательства свыше, но Касимову было просто стыдно лишний раз отрывать Елисеева, и так почти не уходившего со станции. Положение старшего по «заградиловке», как-то само собой пришедшее к Касимову, обязывало его к самостоятельности. Он быстро сошелся и с неунывающим Васей Крохмалёвым, и с Невеличкой, то расторопным, то непонятно медлительным, но всегда точным в исполнении любого дела. Косой, единственный из всех не пожелавший работать без красной повязки на левом рукаве, оставался антипатичным Касимову с первой встречи.

Между тем эти повязки, в первые дни интересовавшие даже самого Касимова, становились помехой. Правда, на их алый цвет, как на сигнал спасительного маяка, стремились все, терпящие путевое бедствие в потоке, захлестнувшем станцию. Вокруг них кипели брызги вопросов, жалоб, просьб, требований. Но стоило этим алым кольцам поплыть вдоль эшелонов, как то здесь, то там возникали тени фигур, проворно шмыгавших под вагоны, исчезающих в неизвестности, словно мелкие суденышки, срочно меняющие путевой курс. Трое легко расстались с этими призрачными эмблемами власти. Косой упорствовал, горделиво, подчеркнуто выпячивая везде свою красную повязку, и Касимов, не желая лишних ссор, махнул на него рукой, поручив ему, как основную обязанность, патрулирование на перроне и лишь в крайних случаях направляя в обход по эшелонам.

* * *

Густой, крупный снег валил так, словно где-то там вверху, обтряхиваемое ветром, осыпалось громадное поле одуванчиков. Составы подходили к Актюбинску, облепленные влажным пухом, а стоя на путях, обрастали белыми шапками. Платформы, казавшиеся груженными оборудованием, неожиданно сбрасывали во все стороны пласты снега, из-под которых тотчас показывались задубленные смуглые лица бессарабцев, вырывался говор, стук ведер, чайников, котелков.

Из распоротых подушек вылезали полуголые цыганята, безбоязненно шлепали голыми пятками по снегу, словно не чувствуя его морозного прикосновения. Пух, застрявший в курчавых, свалывшихся волосах, казался хлопьями снега, заполонившего станцию. Женщины, гортанно переговариваясь друг с другом, вытряхивали шубы, платки, кацавейки и, не стыдясь, расстегивали кофты, прикладывая к груди орущее потомство. За долгий путь от Молдавии они уже привыкли и к бесконечным стоянкам, и к ледящему ветру, и к дождям, и к снегу и, как дом без крыши и без стен, обжили эту платформу, на которую Касимову холодно было даже смотреть.

Косой стоял рядом и сокрушенно качал головой:

– Ай, бедные, ай, несчастные люди, и вагона не могли им дать – так с ребятишками и едут, ай-ай-ай! Смотри, смотри, в одних рубашонках, господи. И ни у кого душа не шевельнется пожалеть. Что смотрит начальник эшелона? Зачем тронули людей с насиженных мест?

Касимов мельком взглянул на елейное лицо Косого:

– Ты поговори с ними, они расскажут, кто их тронул. Не в клетках под замком везут. А вагоны... Не видишь? Чуть не весь запад, женщины да ребятишки, сюда жмутся – не сладко на родном пепелище да у гансов макуху жевать.

– Так ведь жаль-то как...

– А ты пожалей, не словом пожалей. Вот шубку отдай той старухе, смотри, платок-то у нее совсем прохудился. Или возьми себе вот этих пацанов в квартиранты, – задержал Касимов двух цыганят и, словно стесняясь присутствия Косого, тайком сунул каждому по куску сахара, тотчас же хрустнувшего в острых белых зубенках.

Косой поправил повязку на рукаве и, не ответив, пошел вдоль перрона. Касимов, привычно подтянувшись на руках, влез в приоткрытую дверь теплушки.

– Приготовьте документы.

Полутьма теплушки зашуршала руками по карманам, узелкам, кошелькам. Касимов просматривал паспорта, справки, удостоверения, быстро находя основное: год рождения и годность к военной службе у мужчин; фамилии, сходные с иностранными, – у всех без исключения, стараясь одновременно найти следы подчисток и подделок. Взгляд скользил по документам, перебегал на лица, руки, фигуры, ощупывал нагромождение вещей, заполнивших беспредельно емкое ну-тро теплушки. В углу стонало что-то бесформенное, укрытое серым одеялом.

Старуха с дрожащим подбородком и редкими желтыми лошадиными зубами стояла, загораживая угол до половины:

– Доченька там, голубь, доченька моя родная. Уж ты сделай милость, не тревожь ее. Кой ден мается, вот-вот родит. Ос-споди сусе христе сыне божий, владычица богоматерь, святители-угодники, спасите нас грешных. Мúку мученическую приняли, почитай три месяца в пути, ос-споди, царица небесная. Вот документы, вот, голубь мой ясный, проверь, спаси тебя святые архангелы. Марья доченька-то, Марья, Симакова Марья. Ярцевские мы, значит, обе. Тронемся, голубь, скоро?

Кто-то тронул Касимова за рукав. Женщина с землисто-бледным, нездоровым лицом, укачивая ребенка, просительно смотрела в глаза. Касимов вспомнил строчки из ее эвакосправки: «Ольга Симакова из колхоза «Утро» Ярцевского района следует с ребенком в восточные области страны».

Симакова не отводила взгляда и нервно теребила рукав:

– Нельзя уходить, товарищ, помочь надо.

– Ваши родственники? – глазами указал Касимов на старуху.

Симакова утвердительно кивнула.

Касимов повернулся к выходу:

– Тогда и помогите, вы же знаете, как и что, а я... Положим, могу прислать медсестру. Снимет она, бабушка, твою Марью с эшелона, ладно?

Старуха испуганно всполошилась:

– Что ты, что ты, голубь! Виданное ли дело, в чужом городе родное дитя оставлять. Нет, нет, уж мы сами как-нибудь домучаемся, страдаемся остатние денечки, господь не без милости. Спасибо, голубь, дай бог тебе доброго здоровья.

Иди, родимый, делов-то у тебя и без нас хватит.

Ольга не выпускала рукав:

– Помочь надо, слышите?

– Да не акушер я, товарищ Симакова, – взмолился Касимов.

Глаза женщины потемнели. Она подталкивала Касимова к старухе и шептала:

– Вы помогите, вы... Женщина рожает... уже всю дорогу, третий месяц рожает...

При каждой проверке документов... Понимаете?

Через тюки, узлы, корзины Касимов с трудом пролез в угол и рывком сбросил серое одеяло. В нос ударило запахом потного, давно не мытого тела. Лицо роженицы, закрытое цветастым платком, было повернуто к стене. Вздутый живот под домотканой юбкой не шевелился. Отталкивая локтем Касимова, старуха старалась натянуть одеяло хотя бы на босые жилистые ноги с крупными ступнями.

– Иди, иди, охальник, тебе что, документа мало? Насажали вас тут, проверщиков, на нашу шею, прости ос-споди.

Касимов смутился, покраснел и укоризненно взглянул на Ольгу. Она сдвинула брови, словно силясь что-то подсказать ему. Потом дважды резким движением провела по лицу, словно сбрасывая ладонью невидимую паутину. Повторила то же движение и кивнула на лежащую в углу. Касимов наконец понял и сдернул цветастый платок, скрывавший голову роженицы. На подушке резко выделилось красное лицо с мясистым носом, злобно-испуганными глазами и подбородком, густо заросшим черной щетиной бороды.

– Та-ак... – протяжно выдохнул Касимов, – значит, Марья? Та-ак...

Старуха грузно осела на узел, выронив документы из трясущихся рук:

– Сынок, сынок... не сберегла... не схоронила тебя от сглаза...

Касимов поднял документы и посмотрел их на свет. За последней буквой женского имени еле просвечивала соскобленная «н», зато к фамилии была добавлена «а».

– Вставай, Марьян Симаков, приехали.

– В тюрьму поведешь? – хрипло спросил мужик.

Касимов усмехнулся:

– Ну, зачем такие строгости – роженицу в тюрьму? Мы умеем с женщинами по культурному: пострижем-побреем, в баньке помоем, вошек выжарим и к женихам в военкомат проводим, а там...

Касимов не успел закончить, как Марьян в один мах подскочил к Ольге и ударил ее по лицу:

– Шлюха! Мало тебе разводу, так ты, иуда, мужа бывшего, кровного, своего предала...

Марьян хотел вырвать у Ольги ребенка, но Касимов выкрутил ему руку и, сбросив из теплушки на снег, поручил подбежавшему Косому.

Ольга сидела, крепко прижав к груди ребенка и раскачиваясь, словно от зубной боли. В углу причитала старуха. Касимов хотел узнать, как же этот здоровенный мужик ухитрился за три месяца пути обдурить столько «заградиловок», но вагон качнулся и застучал по рельсам, ускоряя ход. Ольга пожалала руку Касимова ладонью, влажной от слезинок.

Соскочив на ходу, Касимов оглянулся. Сидя в сугробе, со съехавшей набок кубанкой, Косой тупо смотрел на капли крови, падающие из разбитого носа:

– Ушел, черт, ушел. Видишь, как саданул.

– Куда ушел? Почему не крикнул?

Косой испуганно заморгал:

– Крикни, крикни... А ты видел, какой у него кулак – с ведро. Я только рот раскрыл, а он как ахнет...

Смеясь и досадуя, Касимов помог Косому встать и вытряхнуть снег из-за ворота:

– Пока ты мне эту бабу с бородой не найдешь, лучше не приходи.

Елисеев заливался искренним, почти детским смехом, слушая доклад Касимова, и по селектору дал в обе стороны участка приметы Марьяна.

А под вечер Косой в сопровождении шести деповских сандружинниц торжественно ввел Марьяна в комендатуру.

Девушки наперебой рассказывали:

– Мы идем... а в угольной яме...

– ...думали, баба...

– А оно, вишь ты, поишь ты – с бородой.

Весело смеясь, они вышли и, шагая по заснеженному перрону, бок о бок, локоть к локтю, запели на мотив «Водовоза»:

Трудно бабе молодой
Жить с небритой бородой.
Не спастись от бороды
И ни туды, и ни сюды...

Глава 3. МАМЕД ГАДЖИБАЕВ

Случай с Марьяном Симаковым не был массовым, но он не был и единичным. Война несла волны новобранцев, эвакуированных, беженцев, раненых. И среди этих волн плыли разрозненные клочья грязной пены – дезертиры, спекулянты, как микробы в среде народного бедствия, питающего их гнусное бытие. «Заградиловка» была ситом, через которое процеживался поток людей, и с каждым днем ячейки этого сита сужались, стараясь уловить не только крупную хищную рыбу, но и мельчайшие фильтрующиеся вирусы.

* * *

Мамеда Гаджибаева внесли в комендатуру двое стройных чеченцев и без особой бережливости стукнули носилками об пол. Мамед застонал, приподнялся и положил грязные ладони на бревнообразные ноги, обмотанные тряпками:

– Зачем бросал, не смел бросал, в госпитал нэсы, товариш. Ай-ай, нога болит, ай-ай-ай!

Начальник эшелона рапортом доносил, что «рядовой отдельной кавалерийской части Мамед Гаджибаев подлежит лечению в госпитале с последующим преданием суду военного трибунала за умышленное членовредительство с целью уклонения от военной службы в действующей армии».

Мамед был трусом от рождения. Он боялся всего: мышей, пауков, высоты, темных ночей. Окриков отца, смелых выходов своих ровесников, бойких девушек, молнии и грома, бурных вод горной реки. Когда в ауле пристреливали винтовки Мамед убегал к матери и, зарывшись в ее колени, затыкал уши, вздрагивая при каждом выстреле.

Сложная обстановка Кавказского фронта перенесла формирование отдельной кавалерийской части в Узбекистан. До погрузки в эшелон Мамед еще верил в то, что война неожиданно кончится без его участия. Он обедался ароматными чарджуйскими дынями и плохо следил за конями. Когда же восемь чистокровных скакунов застучали копытами по доскам теплушки и Мамеду приказали влезть туда же, он понял, что это – конец. Тяжелая дверь скользнула роликом по рельсе и отрезала последний ломоть нежно-голубого узбекистанского неба. Мамеду показалось, что это не теплушка, а фронт сомкнул свои страшные челюсти, и он – Мамед – проваливается в черную утробу смерти. Спасительные колени матери были далеко, и Мамед заплакал, уткнувшись в кошму, пахнущую конским потом. Дрожащий, с опухшими от слез и бессонницы глазами, лентяй и неряха, он стал посмешищем всего эшелона. Он совершил десятки разных проступков, добиваясь ареста, снятия с эшелона, суда, лишь бы отдалить неумолимое приближение к фронту. Но все его замыслы лопались, как мыльные пузыри. Ему давали внеочередные наряды, сажали под арест в отдельной теплушке, но все же везли, везли туда, куда он не хотел. Когда командир пытался проникнуть в глубину его существа, вывернуть его наизнанку, вытряхнуть гниль животного страха, Мамед съеживался, уходил в себя и молчал.

Эшелон вошел в полосу морозов и метелей. Выбегая на остановках за кипятком и горячей едой к походной кухне, Мамед неприязненно стряхивал о рельсу двери налипшие комья снега. На одной станции, где проводили выводку коней, Мамед увидел, как санитары несли труп замерзшего в пути беспризорника. Негнущиеся босые грязно-белые ноги преследовали Мамеда в ночных видениях и даже днем, когда он закрывал глаза. Они были отправной точкой для нашептанного страхом решения: без рук жить плохо, без ног тоже плохо, но можно. И с храбростью труса, спасающего свою жизнь из распахнутых объятий войны, он начал обмораживать ноги. Ночью, чуть оттянув тяжелую дверь, он ставил босую ступню на ледяную рельсу двери. Сперва прикосновение к ней обжигало до дикой боли. Мамед сжимал зубами рукав телогрейки, чтобы не закричать. Кони, потревоженные струей морозного воздуха, начинали перебирать копытами. Шевелились во сне товарищи по теплушке, и Мамед осторожно закрывал дверь. В теплоте вагона в ногу Мамеда вонзались тысячи ножей пульсирующей крови, и он катался по сну, размазывая слезы боли и отчаяния. Днем он скрывал ноги в валенках и не выходил из вагона, чтобы не выдать себя хромотой. А потом снова клал ногу на ледяную рельсу – сперва одну, потом другую, каждую ночь в течение целой недели. Он мог, конечно, на любой станции сделать вид, что неумышленно поскользнулся, и сунуть ногу под колесо вагона. Но тогда была бы кровь, его кровь, а крови Мамед боялся. Там он увидел бы свою от-

скочившую ступню со своими, сразу ставшими чужими пальцами. Нет, на это у него не хватило бы сил. Обмороженные ноги ему, может быть, тоже отнимут, но это будет не сейчас, и он этого не увидит. А может быть, и не отнимут, и только долго-долго пролежит он – Мамед – в госпитале, так долго, что война затухнет, и он вернется, не взглянув в ее страшный лик. Валенки уже не влезали на опухшие гангренозные ноги. И в тот день, когда Мамед стал заматывать их тряпками, за его спиной раздался голос комиссара:

– Ты что сделал с ногами, Гаджибаев?

Мамед попробовал улыбнуться, но улыбка вышла жалкой и неискренней:

– Малко морозил, товарищ комиссар, вагон холодно, ветер холодно.

– В конском вагоне холодно? В валенках холодно? Где валенки?

– Терял, товарищ комиссар, не знай, где терял, ичиги холодно, – Мамед сунул руку под кошму и вместо ичигов машинально вынул свои валенки.

Комиссар положил руку на кобуру и, еле сдерживаясь от гнева, закричал:

– Вставай, ты!.. Встать!

Мамед с ужасом смотрел на правую руку комиссара, расстегивающего кобуру. Вот сейчас оттуда выйдет вороненая смерть, и Мамед перестанет жить. Перестанет жить!

Мамед закрыл глаза и, обхватив ноги комиссара, припал к холоду валенок:

– Не нада убивай, не нада убивай, товарищ комиссар, не нада-а-а! – завизжал он, извиваясь на полу.

Комиссар брезгливо разорвал кольцо рук Мамеда и ушел в штабной вагон, на ходу убирая наган в кобуру...

* * *

Касимов выдал расписку в приеме рапорта и арестованного. Мамед, все так же сидя, боком смотрел, как готовят пакет на него для госпиталя и прокуратуры. Он часто моргал глазами и, словно вспомнив что-то, потянул к себе вещевой мешок, брошенный рядом с носилками.

Развязывая тесьму, он зашептал:

– Товарищ комендант, слушай, товарищ комендант...

– Я не комендант, – отмахнулся Касимов, продолжая писать.

– Се равно, – шептал Мамед, – се равно, товарищ, ты слушай. Вот урюк, хорош урюк, ой, хорош! Вот деньга, тут много деньга, две тыщи деньга, мачка Мамеду давал, Мамед берег, хорошему человеку дарить хочет. Тебе дарить хочет. Не нада трибунал бумага, госпитал нада, лечит нада, домой Мамед нада...

Дрожащими руками он протягивал Касимову пачку засаленных бумажек и ярко-полосатый мешочек с урюком.

Касимов кончил писать и повернулся к телефону:

– Дайте военного прокурора...

– Еще тыщу дам, три тыщи дам, товарищи, не нада прокурору, – шептал Мамед, потом затих.

Дожидаясь ответа, Касимов услышал за спиной звук разрываемой бумаги и обернулся. Дотянувшись к столу, Мамед схватил пакет и с ожесточением рвал его на мелкие клочки:

– Нет рапорт, нет прокурор, вот, вот, вот... – злорадно шипел он, захлебываясь слюной.

Касимов повесил трубку и снова поднял ее:

– Дайте эвакуогоспиталь. Госпиталь? Товарищ начальник? Тут у меня арестованный с обморожением ног, снят с эшелона. Да, умышленное членовредительство. Да, в шестую палату под охрану. Прокурору я пакет направлю сам, а пакет для вас этот дурак обмороженный сейчас разорвал, так я дам просто направление от комендатуры.

Вытаращив глаза, Мамед смотрел на Касимова, на обрывки пакета, на деньги рассыпавшиеся по коленям. Потом скомкал деньги, сунул их за пазуху и лег, отвернув лицо к окну.

Глава 4. «ЛЕЙТЕНАНТЫ»

Четный пассажирский поезд прибыл из Москвы и вытянул вдоль перрона цепь разномастных вагонов. Из них ринулись ручьи людей в форме, сливаясь у дверей комендатуры в шумную реку, бурлящую возгласами, криком, топотом ног. Открыв окошечко, Касимов просматривал командировки, продаттестаты, догоночные акты, выдавая талоны на хлеб и одновременно отвечая на град вопросов.

– Талон на двоих, по перрону направо третий ларек. Столовая в конце перрона... Не могу выдать, получайте на продпункте по аттестату. Нет, товарищ, гражданских лиц комендатура не снабжает... Поезд стоит сорок минут, все успеете. Не ругайтесь, здесь не пивная. Товарищи, пропустите инвалида! Держите талон. Простите, я не заметил, что вы без рук... Невеличка, проводи инвалида, получи ему хлеб и обед да посади в вагон. Нет, товарищ, это не блат, это уважение к человеку, он за нас с вами руки на фронте оставил. Гражданские командировочные, не стойте, ничего не выйдет! Почему у вас два документа на две фамилии? А где этот второй боец? Отстал? Его документ и аттестат задерживаю. Не шумите! Что, тыловая крыса? Ладно, пусть я тыловая крыса, а вы удрали от товарища с его документами, довольствие всюду получаете на двоих, а он где-то сзади едет голодный. Отходите, документ не верну! Бабушка, вы зачем сюда? Не могу, родная, вам дать талон – весь поезд сюда сбежится. А у нас только военным. Сын военный? На фронте погиб? Не могу, бабушка, да не плачьте вы... Невеличка, на талон, получи старушке, а то ей не дадут. Идите, бабушка, да не благодарите вы, не рассказывайте никому. Тебе что, девочка? Постой, постой, твоя фамилия как? Сергеева? Ага, вот это хорошо, что ты нашлась. Твоя мама уже две недели с нашего эвакуопункта приходит, все о тебе спрашивает. Одна доехала? Военные помогли? Ну, пройди пока сюда, посиди вот здесь рядом с лейтенантами. Не бойся, тебя они не съедят, это они только меня кусают, да я костлявый, не угрызть. Ничего, ничего, товарищ младший лейтенант, разберемся и отправим со следующим скорым, вам не к спеху. Ну, все?

Касимов закрыл окошечко, убрал хлебные талоны. За окном мелькнули хвостовые огни пассажирского. Когда затих стук колес, в окошко робко зацарапали ногтем. Касимов открыл дверь и впустил худенькую фигуру в расстегнутой шинели и неряшливо свисших шароварах.

– Отстал?

– Отстал, товарищ комендант...

– Помощник...

– Отстал, товарищ помощник коменданта.

– Документы?

– Та нема их.

– Невеличка, займись земляком, потом проводи девочку на эвакуопункт. Ну-с, теперь с вами, товарищи младшие лейтенанты. Крохмалёв, почему сняли с поезда?

Крохмалёв встал, чуть накренившись на раненую ногу:

– Подозрительные, товарищ Касимов.

Белокурый щеголеватый лейтенантик вскипел:

– Ты!.. Ты выбирай слова, про офицера говоришь, мразь!

Крохмалёв сжал кулак, но сразу же расправил его и, словно козыряя, сдвинул ушанку на затылок. Круглое лицо его побурело от прилива крови.

– Я выбираю, товарищ младший лейтенант, я не говорю – жулик, потому что вы офицер, и называть вас жуликом нельзя, а просто подозрительны вы мне, и опять же в вагоне говорят, что вы чаем спекулируете, а я вас спекулянтом не называю.

– Бабьи сплетни!

От морозного сквозняка и непрерывной круглосуточной толчеи людей у Касимова болела голова.

Он потер виски и указал на чемоданы офицеров:

– Откройте.

Белокурый вскочил и рывком распахнул шинель. На френче разноцветно блеснули орденские планки.

– Это что, обыск? Обыскивать советского офицера?

Он застучал кулаком в грудь и затряс головой.

– Мы на фронте кровь проливали, а тут с обыском. Вы знаете, кого обыскиваете? Я под Москвой...

Касимов жестко оборвал:

– Знаю, товарищ младший лейтенант, знаю. К сожалению, я все же обязан произвести осмотр. Извините, общее правило для всех задержанных. Позвольте ключик.

Второй задержанный, хмурия редкие рыжеватые брови и нервно подмаргивая водянистыми глазами, широко расставленными на отечном лице, положил руку на плечо белокурому:

– Брось, Лешка, чего куражиться. Что есть – все наше, не краденное, трофейное.

В распахнутых чемоданах под женским батистовым бельем, голубея обертками, лежали в несколько рядов пачки грузинского чая.

Крохмалёв почесал нос и ехидно бросил в сторону:

– Тро-фей-ное! Наши войска высадили десант в Москве и захватили плацдарм в глубине магазина. Трофеи подсчитываются.

И, тыкая кургузым пальцем в нутро чемоданов, он диктовал Касимову, перечисляя содержимое:

– 186 цибикив чая! По 93 на каждого. Храбро! Пять кругов колбасы, четыре мотка кружев, двадцать пачек спичек, семь пар шелковых чулок, одиннадцать дамских сорочек. Словом, противник отступил в беспорядке, бросая богатые трофеи. Потерь с нашей стороны не было. Отличившиеся представляются к награде. Все. Нет, вот еще общая тетрадь со стихами. Ну, это ты уж сам читай, Касимов, ты любитель этой антимионии.

Белокурый скрипел зубами и, глубоко затягиваясь дымом папиросы, непрерывно сплевывал на пол.

Крохмалёв добавил:

– А между прочим вот здесь, в углу, специально плевательница.

Касимов листал толстую тетрадь. Со страниц, заполненных каллиграфическим, писарским, витиеватым почерком с хвостиками и штопорами росчерков, пахло затхлым духом мешанских альбомчиков и письмовников.

«Маня, я тебя люблю,
Я букет тебе куплю,
Поцелую я тебя,
И обнимешь ты меня».

«Чтобы очаровать даму и добиться взаимности, надо тайком отрезать ей кончик косы, каковой в субботу в новолуние сжечь на свечке без свидетелей ровно в полночь. А золу собрать и дать даме скушать с пирожным или в вино замешать. А когда есть будет, наступить ей на левую ножку. После чего можете смело обнять даму и целовать в свое удовольствие, в чем дама вам не откажет...»

«Катя-ангел, приходи,
Ко моей прижмись груди.
Не жалея своих грудей
Двоих белых лебедей...»

Четверостишья, обрамленные чуть не всеми женскими именами, перемежались с грубой гусарской нецензурщиной и куплетами из Баркова. Касимов брезгливо захлопнул тетрадь и ввел лейтенантиков в кабинет Елисеева.

Положив голову на стол, Елисеев спал сидя. Новенькие, только вчера надетые погоны старшего лейтенанта равномерно покачивались при каждом вздохе, воротник врезался в шею. Касимов подкашлянул и тронул Елисеева за руку.

Комендант с трудом оторвал голову от стола и, вздрогнув всем телом, как бы прогоняя сон, вернул на лицо свою мягкую улыбку:

– Слушаю.

Касимов положил на стол тетрадь, документы задержанных и опись осмотра чемоданов.

Все еще не преодолев сна, Елисеев зевнул, открыв частые ровные зубы, и, поглаживая ладонью гладко выбритый подбородок, спросил:

– В отпуск по ранению?

– Точно так, товарищ старший лейтенант, – отчеканил белокурый, посматривая на стул, но Елисеев не предлагал сесть, а сделать это самовольно лейтенантик, видимо, опасался.

– Откуда барахло взяли, куда везете? – помахал Елисеев актом.

– Тетка дала, в Ташкент свезти к одному знакомому...

– Спекулянту?

– Зачем так резко, товарищ старший лейтенант? – вступился белокурый.

– Затем так резко, товарищ младший лейтенант, что вы офицеры, а превратились в барахольщиков, – ответил Елисеев. – Где звание присвоили?

Белокурый замаялся:

– В 33-й дивизии.

Елисеев раскрыл удостоверение:

– А не в 38-й?

– Так точно, в 38-й, товарищ старший лейтенант.

– Запомнили?

– Точно так, запомнил.

– Плохая у вас память, товарищ младший лейтенант: звание вам присвоено в 33-й дивизии, здесь так и написано.

Белокурый опустил голову.

Елисеев, перелистывая тетрадь, спросил:

– Стишками балуетесь?

– Это я так, для памяти больше, товарищ старший лейтенант, не свои.

– Любопытные стишки. Тебе понравились? – посмотрел Елисеев на Касимова.

Касимов, недоумевая, пожал плечами: что может быть любопытного в этой мерзости?

– А мне нравится. Особенно вот эта строчка: «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым!..»

Касимов не понимал, куда клонит Елисеев. Тот усмехнулся, сложил командировочное удостоверение белокурого пополам вдоль, текстом наружу, и приложил его к прочитанной строчке стиха.

Касимов хлопнул себя ладонью по лбу:

– Ах я, дубина!

Строчки стиха и удостоверения были выведены явно одной и той же рукой с характерными завитушками и крючками. Тот же почерк чувствовался и в подписи за начальника госпиталя. Касимов восхищенно смотрел на Елисеева.

Потряса бланками перед побледневшей парой задержанных, Елисеев спросил:

– Сами сфабриковали? Подлецы вы, а не офицеры! Ты кто, гад паршивый? – непривычно повышая голос, обратился он к белокурому. – Писарь?

– Писарь... полевого госпиталя писарь, – еле шевеля ртом, пробормотал белокурый, сразу слинявший, понурый, как воришка, пойманный с поличным.

– А ты? – повернулся Елисеев к отечному.

– Рядовой трофейной команды.

– Офицерское обмундирование ты достал?

Отечный молча кивнул головой.

– С мертвых да с раненых?

Водянистые глаза, испуганно подмаргивая, уставились на Елисеева.

– А ты, писарь, давай печать! Касимов, обыщи!

Из часового кармашка шаровар белокурого Касимов вынул кругляшек гуттаперчи, сорванный со своего деревянного основания, и сличил шифр с тем, что стоял на отпускных удостоверениях. Оттиск совпадал полностью...

Конвоируя арестованную пару, Крохмалёв объяснял шагавшему рядом с ним Невеличке:

– Я сразу понял, что подозрительные, потому что жулики и офицерством кичатся, как писаной торбой. Нет, если ты офицер, то ты об этом кричать не будешь, офицера не по форме, а по нутру я издали узнаю. А это что? Шантрапа! Ну, ты, трофейщик, шагай в ногу.

Насмешливо глядя в ссутуленную спину белокурого писаря, Крохмалёв замурлыкал:

Катя-ангел, приходи,

Ко моей прижмись груди...

Потом переключился на другой мотив и добавил с ехидцей:

Ляйт्यानты, ляйт्यानты,
Ляйт्यानты разные.
Есть такие ляйт्यानты,
Как жулье заразные.

Дверь прокуратуры гостеприимно распахнулась, пропуская «лейтенантов» с их чемоданами.

Глава 5. ЭСФИРЬ

В те редкие ночные часы, когда уменьшался поток эшелонов, их линии замирали на графиках диспетчеров где-то у дальних границ актюбинского участка. Даже маневровые паровозы погромыхивали и гудели нехотя, словно зевая. Формально смена Касимова заканчивалась, и он мог уходить, но не уходил, а только ослаблял пояс и, не снимая шинели, ложился на жесткий диван, стараясь уснуть. Тогда наступали минуты, предшествующие глубокому, но чуткому сну. И в эти минуты, уже наполовину смешанные с видениями сна, с потоком золотистых, голубых, зеленых, оранжевых точек и черточек, с наплывом лиц и отливом сознания, начиналось то, что Касимов называл про себя раскопками. Память разрывала пласты ушедших в былое дней и ставила перед Касимовым живых свидетелей его дел и ошибок. Они отталкивали сон, заставляя снова и снова переживать то светлые, то мучительные минуты воспоминаний. Касимов знал, что вот сейчас начнет разматываться черно-голубой клубок, не хотел этого, и в то же время сам искал в памяти тот конец нити, который поведет его от первой встречи с Эсфирью к последней...

* * *

Когда схлынула толпа людей с ночного пассажирского и гудок паровоза, смешиваясь со стуком колес, поплыл к востоку, – она вошла без стука, запросто, как в давно знакомый дом.

Поставив небольшой чемоданчик на диван, постучав каблучками туфель и стряхнув снег, она расстегнула серую заячью шубку и, уже садясь, спросила:

– Можно?

Крохмалёв без стеснения разглядывал гостью с головы до пят и, разглядев, равнодушно отвернулся, – гостя была не в его вкусе. Он любил простецких, таких же, как он сам, широко скроенных и крепко сшитых деревенских девушек с румянцем во всю щеку, курносых и сероглазых, занозистых на шутки, умеющих ровно и легко вязать снопы и расплескивать по степному приволью голосистые запевки. Косому она не понравилась тоже. Такую не обведешь вокруг пальца, даже после редкого в те годы обильного ужина с «примочкой».

Невеличка смотрел на Эсфирь не без интереса, но, вспомнив, что еще не проверен товарный состав на седьмом пути, вышел и сразу за дверью сказал Косому и Крохмалёву:

– Ось це штука, барвиночка с червоточинкой!

Эсфирь улыбнулась, чуть приоткрыв свежие губы и приподняв тонкие темные брови... Смуглые, не потерявшие загара руки поправили меховую шапочку, смоляные волосы, погладили лицо, напоминая библейские олеографии и стихи

Мея, пощелкали замком сумочки. Тонкие черные чулки подчеркивали стройную форму ноги от подъема до круглого колена. Нет, она не была красива настолько, чтобы встретив ее случайно в толпе, захотелось бы оглянуться. Но, раз взглядевшись в смуглый овал лица, в темно-карие глаза, в изгиб улыбнувшихся вот так, как сейчас, губ, забыть это лицо было уже трудно.

...Этот женский лик предстал перед Касимовым, и он тщетно пытался получше разглядеть его. Сейчас Эсфирь расскажет длинную историю о своей эвакуации из Киева, о своих двух спутниках, едущих сзади с вещами и временно брошенных ею, чтобы хоть ненадолго вырваться из тесноты и вони теплушки. Кто эти двое, которых она решила ждать здесь, чтобы перебраться с ними в пассажирский поезд и ускорить окончание долгого пути в Ташкент? Эсфирь отвечает туманно и неохотно: отец-старик и с ним еще один.

– Мне нужна комната, пока не придет их эшелон, где-нибудь около вокзала, чтобы я могла часто бывать тут и не прозевать их выгрузить. Мне нужно знать заранее, когда они придут. А ведь где же, как не у вас, в комендатуре, самые точные сведения сейчас, во время войны. Я буду приходить сюда. Нет, я не помешаю, я только сяду вот здесь тихо-тихо, можно? – она улыбнулась, и Касимов потерял представление о ее возрасте.

Ей могло быть двадцать пять – двадцать восемь, когда она, задумавшись, смотрела, не видя, во что-то далекое, серьезное. Ей становилось не больше двадцати, когда улыбка с ресниц слетала на губы. Она говорила о страшных часах бомбежки, о трудной погрузке в один из последних эшелонов – глаза ее влажнели, и около губ ложилась горькая складка. Потом она вспоминала смешные пустяки из быта теплушек с их многонедельными стоянками и молодеда, согревая Касимова теплом широко раскрытых глаз.

Касимов привычно просмотрел документы Эсфири и непринужденно предложил ей свою комнату в первом от вокзала переулке:

– Отдельный ход, правда, очень скромно – стол, два стула, этажерка и кровать, но зато тихо и спокойно.

Эсфирь густо покраснела, прикусила губу и опустила густые ресницы. Пальцы ее нервно забарабанили по сумочке.

Она встала:

– Благодарю, но... – губы ее обиженно дрогнули.

Касимов понял свою бестактность и тоже покраснел:

– Вы вот про что! Нет, я там не бываю, некогда. Я живу здесь и сплю вот на том самом диване, где вы только что сидели.

Эсфирь протянула ему узкую теплую ладонь.

* * *

Эсфирь приходила каждый день, чаще вечером, когда Касимов, набегавшись по путям и эшелонам, усаживался за составление сводок о задержанных «заградилкой». Крохмалёв для приличия задавал пару вопросов о погоде, хотя сам знал о ней не меньше, чем Эсфирь, докуривал папиросу и дипломатично уводил Косого с Невеличкой на очередной обход или в агитпункт, за что Касимов в душе был ему благодарен.

Проходя через «заградилку» в свой кабинет или обратно, Елисейев мельком недовольно взглядывал на Эсфирь, но ничего не спрашивал о ней у Касимова,

когда тот докладывал о событиях дня, и только исподволь присматривался к нему. Касимов чувствовал себя неловко в такие минуты и уходил.

Присутствие Эсфири было почти незаметным и физически мало ощутимым. Словно сами собою рядом перелистывались страницы книги, шуршали газеты, донося к Касимову легкое дыхание женщины. Потом приходили поезда. Касимов открывал окошечко и, атакуемый вопросами и требованиями, так углублялся в них, что порою не замечал исчезновения Эсфири.

Первые два-три дня она интересовалась эшелонам № 28875, оставленным ею где-то за Волгой, потом перестала спрашивать о нем, словно его и не было вовсе.

Касимов, разглядывая по утрам диспетчерский график, ловил себя на мысли: подольше не видеть на краю актюбинского участка этот номер 28875 и черту под ним, которая, лишь появившись, уже не исчезнет, а будет все удлиняться, пока не дотянется до Актюбинска, не ворвется на один из его путей громоуханием колес, звоном буферов. Потом сюда войдут те двое, что настигнут и увезут с собою Эсфирь, его Эсфирь...

Его Эсфирь... Еще до того, когда он вслух назвал ее так, чуть женщины, сердце ее и глубокие глаза увидели то, в чем Касимов не хотел сознаться самому себе.

Когда же скрывать это стало выше его сил и безмолвное обожание заполнило все свободные минуты Касимова, Эсфирь насторожилась. Она стала суше, меньше засиживалась в «заградиловке», снова стала спрашивать про эшелон, и вот тогда, впервые, короткое, как удар, упало слово: муж.

Касимов растерянно поглядел на Эсфирь. Она покраснела, как в те минуты, когда он предложил ей свою комнату. Выдержав взгляд, она грустно улыбнулась и положила ладонь на его руку:

– Вот и сказке конец.

Касимов боялся шевельнуть рукой, боялся, что исчезнет это тепло, непреднамеренно согревшее его пальцы.

Вот так же, на весне его жизни, теплая ладонь самой первой, самой любимой грела его пальцы у ворот дома в далеком Кронштадте, и легкий ветер чуть колыхал гимназический передничек девушки. Касимов помнил ее имя – Шурочка – и до сих пор по-ребячески бережно хранил прядку ее темно-каштановых волос, вложенных в последнее прощальное письмо, разделившее их пути навсегда.

Это прикосновение не было похоже на требовательную ласку горячих рук его первой и последней возлюбленной – женщины, опытной в любви, ненасытной в поцелуях и, в то же время, умевшей ценить его душевную чистоту. Вдвое старше его, не получившая в замужестве ничего, кроме грубости и пьяных побоев, она отдала ему всю свою нерастраченную бабью нежность и жар созревшего, красивого тела, уже чуть тронутого знаками неумолимого осеннего увядания. Она по-женски бесстыдно и по-матерински заботливо рассказала Алеше то, что оберегло его впоследствии от многих и многих ошибок в отношении двух полов.

Касимов помнил их обеих, и, хотя имена их были одинаковы, для каждой был отведен обособленный уголок во всей его холостяцкой жизни. Они никогда не сливались в один образ, и чувство к одной никогда не переходило на другую.

С Эсфирью было сложнее. Касимов понял, что непрерывное, ежедневное, ежеминутное общение с накипью, которое несла война через сито «заградиловки», отталкивало его от этой людской грязи на поиски другого полюса, полюса

чистоты и целомудрия. Таковы были первые дни встреч с Эсфирью, когда еще только робко расцветало его чувство к ней. В те дни он ничего не хотел, кроме мимолетного взгляда темно-карих глаз и легкого ветерка ее свежего дыхания.

Когда упало слово «муж», Касимов впервые увидел ее как женщину, женщину недоступную и от этого только сильнее желанную.

Многолетнее воздержание холостого мужчины и сбереженная чистота давно отгоревшей юности нашли в Эсфири единство двух прежних образов: первой девушки и первой женщины.

Он знал о ней немного: дочь фармацевта, рано познавшая ценность куска хлеба, заработанного своими руками на уроках музыки. Когда и как начался период бездетного замужества – об этом Эсфирь молчала.

Еще тот, второй из ее спутников по эшелону был где-то далеко от них, а здесь уже упали слова:

– Вот и сказке конец.

Касимов снова посмотрел на Эсфирь и не поверил себе: не конец, а начало сказки горело в темном зеркале ее взгляда.

Несколько раз кашлянув за дверью, вошел Крохмалёв. Эсфирь написала что-то на закладке книги, захлопнула страницы и, оставив книгу на столе, вышла, не прощаясь. Крохмалёв отвернулся к окну, как безучастный свидетель. Касимов раскрыл книгу и прочел слова на узкой полоске бумаги: Эсфирь звала его к себе.

Глава 6. МАТЬ

Вечером пришла мать. Зябко поводя плечами в стареньком ватнике, она пристроилась на стуле у жаркой печки и смотрела, как Касимов подсчитывал хлебные талоны комендантского ларька.

– Забыл старуху-то, забыл, сыночек, – говорила она и поглаживала ревматические ноги ладонями, нагретыми о печку.

– Да я ж недавно был у тебя, мама.

– Недавно, совсем недавно, только два месяца назад, пока с этой своей «заградиловкой» не связался.

– Меня, мама, военкомат сюда послал...

– А я разве возражаю? Трудись, сынок, любой труд почетен, а мать забывать не годится.

– Мама...

– Ну, ну, ну, знаю, не доказывай. А и похудел ты, Алеша. Бледный да тощий, кожа да кости. Разве что глаза остались прежние. Ну-ка, глянь на меня. Так, так, сынок, хорошие глаза, чистые.

Мать закашлялась глухо, надсадно:

– Простыла в машине. Просвистел меня буран, пока от поселка с попутной к тебе ехала. Ты ко мне не выберешься, так вот я сама нагрянула.

– Некогда мне было, мама.

– Тебе всю жизнь все некогда. И помереть будет некогда. Ну и живи, сынок, дольше живи.

Мать сняла платок, и Касимов заметил, как много седых нитей вплелось в ее темные волосы.

– Седею, Алеша, не по дням, а по часам. Ноги вот болят, поясницу ломит.

Заметив, что Касимов сбился и начал подсчет снова, она помолчала, вслед за ним шевеля губами в такт падающим на стол бумажным квадратикам.

Сбившись снова и потом медленнее доведя счет до конца, Касимов пригоршнями свалил талоны в шкатулку и спрятал ее в стенную нишу за плакат о правилах воинских перевозок.

– Алеша, что я хочу спросить: ты талоны это на хлеб выдаешь? Кому?

– Офицерам отпускным и командировочным, а что?

Мать пытливо посмотрела ему в глаза:

– Трудно с хлебом, сынок, и в городе трудно, а у нас в поселке еще того хуже.

А ты как тут?

У Касимова нудно заскребло на сердце. Ему показалось, что мать сейчас станет просить талоны, чтобы увезти с собой хлеба в запас.

– Алеша! – просительно сказала мать, стараясь поймать его взгляд.

Касимов переступил с ноги на ногу и стал крутить папиросу, обдумывая и оттягивая неприятный ответ. Он никак не мог себе представить, чтобы мать так изменилась, чтобы она не понимала того, что он не мог, не имел права сделать.

– Мама, не могу... – выдавил он наконец из себя после первой затяжки едким дымом.

– Ты что, Алеша?

– Не могу я этого, мама, не проси...

Мать всплеснула руками:

– Ты что, сдурел?! Ты что подумал? Ну, да не бычься, не отводи глаза... Господи, матери и такое отхватил... Я у тебя, что, хлеба прошу, а?

Касимов облегченно вздохнул и ладонями прижал к себе дорогую серебристую голову:

– Мне показалось, мама...

– Показалось, – ворчливо, но уже смягчаясь, говорила мать. – Ты мне вот что ответить: много у тебя этих бумажек?

– Много, мама, сам печатаю – штамп у меня.

– А кто проверяет тебя? За хлеб этот кто проверяет?

Касимов впервые серьезно задумался над этим. И впрямь – проверки над ним не было. Елисеев раньше выдавал ему готовые талоны по счету и раз в неделю отбирал все старые, неоднократно обернувшиеся через руки проезжих офицеров, через хлебный ларек комендатуры и через руки Касимова. Вместо истрепанных, пересчитанных и тут же сожженных бумажек Елисеев выдавал Касимову новые, другого цвета.

Потом как-то вызвал Касимова к себе в кабинет и, передав штампик, сказал:

– Штампуй и помни – хлеб народный. Кому положено давать – знаешь, кому не положено – тоже знаешь. А вот что ты тогда, помнишь, старухе, матери солдатской, талон дал, и получить хлеб помог, и в вагон ее посадить Невеличку послал...

Касимов ждал выговора и готов был принять его.

– ...хвалю за это, – неожиданно закончил Елисеев, улыбаясь смущению Касимова. – Помни, друг, с меня партия, а с тебя я спрошу не за эту бумажку в полкило хлеба, а за то, чтобы дать ее только тому, кому нельзя не дать. Не за букву закона спросят с нас, а за сущность его. Пусть будет правильно не только формально, но когда надо – и по существу. А приятели...

Касимов не ожидал, что у него сразу окажется столько приятелей. Первым стал подъезжать Косой, едва лишь увидел, как Касимов штампует талоны самостоятельно.

Он панибратски обнял Касимова за талию и подмигнул на талоны:

– Живем, значит, Леша!

Касимов грубо отстранился и к самому носу Косого поднес дулю:

– Тебе пайка мало? Обедов в столовой мало?

Косой обиделся:

– А семья? Я когда по торговой части был, и сам сыт ходил, и их кормил. А здесь...

– ...а здесь стянуть нечего, обвесить некого, – заключил Касимов и вторично показал Косому ту же комбинацию из трех пальцев.

За Косым потянулись пристанционные почтовики, вокзальные девушки-парикмахерши, неожиданно влюбившиеся в подбородок Касимова и наперебой предлагающие брить его хоть ежедневно до зеркального блеска:

– Без денег, товарищ Касимов, ей-богу, без денег и с одеколоном!

В темном углу вокзального агитпункта во время киносеанса разбитная, смазливая, с ярко-вишневыми губками буфетчица Лиза спросила однажды:

– Товарищ Касимов, правду говорят, что я хорошенькая?

Он улыбнулся.

Она зашептала, щекоча ему ухо завиточками льняных, крашенных перекисью, волос:

– А вам я нравлюсь? – и, прислоняясь плечом к плечу, прижала его локоть к полной упругой груди.

Оборвалась лента, и механик при крохотной лампочке неторопливо налаживал аппарат. Тогда Касимов почувствовал на щеках чуть влажные ладони, повернувшие его лицо, и, вздрогнув, чуть не задохнулся от томительно долгого поцелуя полураскрытых губ, прильнувших к его губам. Застрекотал аппарат. С бьющимся сердцем Касимов украдкой посматривал на Лизу, и она показалась ему серьезнее, содержательнее, лучше, чем до этого поцелуя. Два дня он ходил под обаянием этой неожиданной и давно не переживавшейся им ласки. На третий день в том же углу погрузневшая и неразговорчивая Лиза вновь обожгла локоть Касимова тем же возбуждающим, упругим прикосновением и вскользь сказала, что «у нее по буфету большая неприятность из-за маленькой недостачи хлеба, и кому-нибудь надо ее выручить».

Касимов резко вырвал локоть и ушел, невежливо расталкивая публику. Поцелуй остался неоплаченным, но Касимов еще несколько дней чувствовал на губах сладкий привкус ванили. А может быть, это только казалось?..

Просунув в окошко «заградиловки» голову, прямодушный простоватый линейный милиционер Якушев попросил прямо:

– Дай талон.

– Начальник велел?

– Ага.

– Для проверки?

– Ага.

Касимов отштамповал листок, а на обороте мелко написал:

«Линейному милиционеру тов. Якушеву за образцовое выполнение задания по проверке честности комендатуры. ЗКУП Касимов».

Елисеев одобрительно хохотал, когда начальник линейной милиции показал листок, обидчиво жалуясь на невыдачу хлеба по нему.

Елисеев, перевернув листок, посоветовал обрामить его под стекло, как похвальную грамоту, и не совать нос туда, где его могут прищемить:

– У тебя, Егоров, спекулянтов из поездов не умеют как следует вылавливать, а ты моих орлов поймать захотел.

Так Касимов понял, что стоит сорваться один раз, и в прорыв к народному хлебу полезут сотни жадных рук, по которым бить уже не сможет.

Но мать... Касимов смотрел на ее исхудавшее лицо, на сморщенные руки вечной труженицы, носившие его, поставившие его на ноги и даже теперь готовые бережно охранять его всем остатком своих последних сил.

Мать спала на диване, положив голову на свой ватник и укрывшись сыновней шинелью. Веки на глубоко запавших глазах вздрагивали, а синеватые старческие губы изогнулись в горькой улыбке, словно спрашивая снова: «Ты перед кем отчитываешься, сынок?»

«Перед своей совестью, мама, перед той совестью, что вот эти твои честные руки годами воспитывали во мне», – мысленно отвечал ей Касимов, поправляя сползающую шинель.

Разбудив каптера, Касимов выпросил у него вперед свой двухнедельный паек хлеба, заранее предвидя, скольких трудов будет стоить ему доказать матери утром, что это не тот хлеб, не «талонный», и что она может и должна увезти с собою этот скромный подарок ее Алеши.

Только укладывая буханки в дерюжный вещмешок матери, Касимов вспомнил о записке Эсфири. Бережно вынув из бумажника узкую полоску, Касимов взглянул на часы: не может быть, чтобы сейчас, в пятом часу утра Эсфирь все еще ждала его.

Алексей сладко потянулся и устало уронил голову на стол:

– Эсфирь, моя Эсфирь, – прошептал он, засыпая.

Глава 7. ЭШЕЛОНЫ «Г»

Назавтра Эсфирь не пришла. Не было ее и через день. Касимов нервничал: с востока один за другим подходили воинские эшелоны, «глаголем» рвущиеся на фронт. Во время короткой стоянки в Актюбинске их надо было накормить, снабдить сухим пайком, газетами, сводками Совинформбюро, медикаментами, снять заболевших, учесть, разыскать и отправить вдогонку отставших.

Елисеев с диспетчерами комендатуры метался между продпунктом, эшелонами, столовой и своим кабинетом, везде успевая и не допуская опозданий эшелонов ни на одну минуту.

Долговязый капитан Фролов, начальник агитпункта, со своей помощницей Вaley едва успевал комплектовать газеты, брошюры, сводки и охрип, сопровождаемый политруками, комиссарами, офицерами и бойцами эшелонов:

– Не могу, товарищи, не дам больше ни одной газеты. За вами еще эшелоны – один к одному – надо и им оставить. Нет у меня больше, не дам.

И все же давал, добывая откуда-то разнокалиберные листы газет, иногда недельной давности, но чаще свежие, кричащие о нечеловеческом напряжении

фронта, об успешном наступлении на Дону, о зверском истреблении евреев в Европе, обо всем, что наполняло жизнь страны.

Врачи и медсестры воевали с медицинским персоналом эшелона, чуть не силой снимая заболевших, не желающих отрываться от своей части, в рекордно короткие сроки проводили санобработку людей и вагонов, снабжали мылом и походными аптечками. Школьники расхаживали между вагонами, застенчиво отдавая бойцам карандаши, тетради, порою исписанные до половины ломким детским почерком но еще пригодные для писем какого-нибудь Али, Тлеубергена, Василия, Сагантая к их семьям, недавно покинутым, но уже тоскующим без своих братьев, отцов, мужей и возлюбленных.

Линейные милиционеры ловили спекулянтов, шнырявших в пестрой толпе и выманивающих за бесценюк остатки домашних гостинцев новобранцев: урюк, кишмиш, алма-атинские апорты, сушеный чернослив, вяленую дыню, аральскую копченую рыбу, рис и памятные сувениры, вывезенные из городов, кишлаков и аулов.

Осмотрщики, смазчики, сцепщики почти бегом готовили эшелоны к дальнейшему пути, позванивая молоточками, ключами, ломиками, масленками.

Касимов со всей своей «заградиловкой» включался в общий строй обработки эшелонов, возглавляя своеобразное справочное бюро по любым вопросам, словно град хлещущим сразу со всех сторон. Людской водоворот то затягивал его в теплушки, то выгонял на перрон, то прижимал к стенке осажденного газетного киоска, то ставил рядом с Елисеевым, энергично и спокойно направлявшим отдельные переплетенные струи шумящей реки в свои русла. Перед отходом удовлетворенного всеми видами пищевого и духовного довольствия эшелона Касимов направлялся в радиоузел вокзала и, прерывая центральную передачу, через микрофон предупреждал об отправке. Эшелон, как магнит, притягивал к себе новобранцев, как губка, всасывал их в нутро теплушек и уносил на запад, освобождая путь для нового, уже запросившегося с востока эшелона.

Проводив глазами хвостовые сигналы последнего вагона, Касимов рассыпал «заградиловцев» по путям и закоулкам, прочесывая территорию станции в поисках отставших.

Отставшие – бич каждого эшелона, в большинстве своем молодняк, новобранцы, впервые оторванные от привычной гражданской жизни. Еще не вошедшие полностью в рамки воинской дисциплины, они налетали на Касимова, разбрызгивая из котелков молоко, размахивая вялеными рыбинами, роняя стопки лепешек с городского базара:

– Где эшелон? Куда ходил шелон? Уй-бай, уй-пурмай, базар ходил, шелон бежал.

Запыхавшиеся и потные, то в пестрых халатах и тюбетейках, посиневшие от холода, то в шинелях, еще не потерявших седого лоска, не прижившихся к своим первым владельцам, в ушанках и малахаях, они, растерянно оглядываясь, гурьбой плелись в «заградиловку» вслед за Касимовым, как за последним звеном, которое еще может связать их с ушедшим эшелоном, с этим их новым, вторым домом. Касимов, собрав красноармейские книжки, регистрировал их, просматривал диспетчерские журналы, графики и, выслушав сотни благодарностей на разных языках, сдавал отставших в подходящие следующие эшелоны, в которых тоже оказывались отставшие. Начальники эшелонов, делая страшные глаза, принимали

пополнение с уверенностью, что уж вот эти, раз пережившие горечь потери своей части, больше не отстанут в пути ни разу.

Так было с теми, кто приходил сам. Остальных приводили Крохмалёв, Невеличко, Косой, линейные милиционеры, дорожные наркомвнудельцы, рядовые железнодорожники:

– Я иду себе вдоль состава, а этот лезет за бревна. Куда, милок, едешь, спрашиваю? На фронт, говорит. Какой же тебе, собачьему сыну, фронт в Ташкенте – ведь паровоз-то в голове – на восток. Ах, ах, говорит, перепутал, шелон сюда, шелон туда, заблудил. А чего ж ты, так тебя и перетак, в бревна ховаешься? Молчит, этот вот.

Касимов пытается поймать воровски бегающий взгляд и брезгливо оглядывает «этого».

Некоторые петушатся, ударяя себя кулаком в грудь и кликушествуя:

– Так?! Нас на фронт, а сами тут окопались, морды наедаете, в тылу окопачиваетесь, а мы за вас воюем! Хватит, отвоевались, теперь ваш черед!

Документы они почти всегда «потеряли». На каком фронте были – «не помнят». С каким эшелонам ехали – «запамятовали».

Касимов сортирует их по двум направлениям: в военкомат – для формирования сводных групп и в военную прокуратуру – для детальной проверки сомнительных вояк. Никаких правил для этой сортировки нет. Помогает чутье, выработанное практикой, и мимолетные, ненавязчивые, но глубоко пронизательные указания Елисеева: на интонацию голоса, на фальшь в глазах, на вид обмундирования, на содержимое вещмешка, на солидный запас наличных денег при замурзанной внешности, на многое другое, что почти безошибочно позволяет определить «чистых» от «нечистых».

Порою Касимов, размещая команды призывников с сопровождающим горвоенкомата в пассажирские поезда, встречает своих «подшефных», прошедших через «заградиловку». Они смущенно улыбаются ему и предлагают закурить местного самосаду, вспоминая детали их невольных встреч, и с откровенной искренностью сожалеют об отрыве от своих эшелонов, от земляков, наверное, уже вступивших на трудный боевой солдатский путь.

Отправив очередную партию отставших в военкомат, Касимов прошел к диспетчеру записать прибытие пассажирских поездов и, взглянув на график, вздрогнул. Неведомо когда вступивший на участок, почти забытый № 28875 стоял в полусотне километров от Актюбинска. Он придет сюда через три-четыре часа, а сразу следом за ним – скорый пассажирский на Ташкент.

– Вы бы отдохнули, товарищ Касимов, ишь какой бледный, – участливо посоветовал диспетчер.

– Пусяки, просто голова болит, – отмахнулся Касимов и вернулся к себе в «заградиловку».

Сжав виски ладонями, он сел к столу и закрыл глаза.

Муж... Видеть его около Эсфири, с рук на руки отдать ему самое дорогое, так неожиданно быстро ставшее родным, смотреть, как он возьмет узкие теплые ладони, к которым Касимов не осмелился ни разу прильнуть щекой, губами? Пережить молчаливо-тягостные минуты прощания при чужих ему, но родственно связанных с нею, людях? И ждать, когда паровоз гудком отправления зачеркнет настоящее, лишит будущего, когда только красные глаза последнего вагона не-

долго поплывут, удаляясь и угасая, как это счастье, которое угаснет, едва успев разгореться?

Нет, это было выше его сил. Касимов вырвал листок из блокнота, написал: «Касса. Обеспечьте три билета на скорый до Ташкента. Пом. воен. коменданта:

А. Касимов»

И передал сложенный вчетверо листок Крохмалёву:

– Вася, не в службу, а в дружбу снеси... ей...

Крохмалёв внимательно посмотрел в тоскующие глаза товарища:

– Ты болен, Алеша?

Касимов помолчал, словно не слыша вопроса, который дошел к нему откуда-то издалека, как ненужное и несущественное.

– А?.. Нет... Все в порядке. Так ты снеси, Вася, сейчас, а я – в обход.

Метель ударила ему в лицо сразу же за дверью. Вечер готовился накрыть станцию ключьями низко летящих туч.

Касимов пересек станцию и пошел по путям.

Глава 8. БРОДЯГА

Метель хлестала в лицо, но Касимов почти не чувствовал ее колючих ударов. Во много раз больнее ударяло и мучительно сжималось сердце.

– Эсфирь... Эсфирь... – тихо повторял он имя, ставшее незабываемым и самым лучшим после тех двух первых, разбудивших его в юности, одинаковых имен. Оно звучало теперь, как грустное «прости».

Обойдя с конца готовый к отправлению длинный состав нефтяного порожняка, Касимов пошел вдоль него, плохо укрываемый от ветра черными телами цистерн. Он спотыкался о сугробы и порой останавливался, чтобы глубоким вздохом унять острую нестерпимую боль в груди.

– Эсфирь!..

Он звал ее шепотом, а ему казалось, что он кричит это имя на всю вселенную, на весь мир, и что этот зов летит сквозь обрывки снежных туч в черный космос, чтобы там застыть, заледенеть и бесконечно кружиться вокруг Земли, как вечный спутник, не удаляющийся, но и не приближающийся к планете, которая породила его и законом тяготения навсегда привязала к себе. Он тосковал всем своим существом. Но тоска была светлой и ни на миг не подталкивала к думам об уходе в небытие. Жить! Жить! И если без нее, без Эсфири, то с постоянной думой о ней, вспоминать это короткое, ясное счастье, о котором оба они не сказали ни слова, но которое щедро струилось из глаз, запечатлелось в памяти легким прикосновением ее руки, взлетом и падением длинных ресниц. Улыбкой губ, густыми, смоляного оттенка волосами, смуглым овалом лица.

Только один раз, когда слишком жарко была истоплена печь в «заградилровке», он видел Эсфирь без ее неизменной шубки. Его поразила девичья стройность ее фигуры, но воспоминания о ней не будили в нем чувственных представлений.

И даже когда он отваживался мечтать о ней, как о подруге жизни, мечта воскрешала перед ним кронштадтский бульвар и гимназисточку в коричневом платье с черным передником, только лицо у нее было уже лицом Эсфири, то повернутым к нему в профиль, то смотревшим прямо в глаза близко-близко, так близко, что

уже не было никакой грани для готового родиться поцелуя, такого же чистого, как и мечта о ней.

Миновав все цистерны, Касимов прислонился к одному из головных вагонов и стоял так, долго собирая мысли о той, которую, может быть, не увидит больше никогда.

За стенкой вагона зашуршало, словно там перекладывали мягкий тюк. Касимов застывшими пальцами скручивал папиросу и машинально прислушивался. Возня внутри вагона возобновилась, стало явственно слышно движение чего-то большого, грузного. Касимов приложил ухо к ледяному холоду досок. За стенкой дышали в кулаки, терли их друг о друга. Касимов достал фонарик и тихо передвинулся к закрытой, но не запломбированной двери. Просунув пальцы в щель, он рывком толкнул легко поддавшуюся дверь и острым лучом фонарика взрезал тьму вагона, беспорядочно заваленную трофейными шинелями, френчами, шароварами.

– Кто есть, выходи! – приказал в темноту Касимов.

Темнота молчала. «Беспризорник или спекулянт», – подумал Касимов и, подтянувшись, привычным броском тела вскочил в вагон. Умышленно вдавливая каблуки в мягкую грудку, даже подпрыгивая на ней, Касимов дошел до последнего угла и, пнув в него каблуком, чуть не упал. С глухим ворчанием из-под вороха шинелей поднялась лохматая голова. Грязная рука потирала ушибленную щеку, густо облепленную рыжеватым с проседью волосом.

– Черт, чего пинаешься? – раздельно произнося каждый слог, огрызнулся оборванец.

– Куда едешь? Документы! – Касимов слепил фонариком глаза бродяги. – Носит вас тут, черт, нелегкая.

– Нет у меня документов, к хлебу еду, – буркнул тот.

Неестественная грязь на руках и лице, подчеркнутое убожество костюма в то время, когда вагон был завален на выбор, хоть и поношенными, но вполне годными для бродяги вещами, насторожили Касимова:

– Пошли!

– Мне и тут неплохо! – снова огрызнулся бродяга. Но двинулся к двери.

У выхода он нагнулся, поправляя рваную штанину, и неожиданно сильно боднул Касимова затылком в солнечное сплетение. Вылетев из вагона головой в сугроб, Касимов уловил стук запертой двери, гудок паровоза и лязг тронувшегося состава. Вбирая ртом снег, Касимов старался вернуть прерванное ударом дыхание. Потом он с удивлением почувствовал чьи-то руки, подхватившие его под мышки, и сел, хватая, как рыба, ртом ледяной воздух. Вагоны по стрелке уже завернули влево, и мимо него ползли цистерны, погромыхивая пустым чревом.

Наконец, сумев вздохнуть почти на весь вздох, Касимов поднялся, качаясь, и сунул забитый снегом пистолет в карман:

– Вася, прочешите всю станцию, всех оборванцев рыжих задержите. А меня подсади, – он примерялся к составу, отыскивая площадку.

Площадок не было. Состав ускорял ход. Они уже почти бежали рядом с ним.

– Скажи Елисееву, чтобы до Карагача состав этот гнали всю «глаголем», а там встретили.

Если бы Крохмалёв не подкинул Касимова на тормоз, тот неминуемо сорвался бы, так слабы еще были мышцы. Он растянулся на заснеженных досках, втаскивая на них все тело. Тормозной, ругаясь, хотел спихнуть его, но услышав: «Комендатура!» – завернулся в тулуп, куда вскоре подкатился к нему и Касимов. Нагреваясь и раздумывая над случившимся, он по опыту задержания бродяг пришел к выводу, что не пойти за ним, выкинуть его из вагона у бродяги были особые причины. Боясь, что бродяга выпрыгнет где-либо на тихом ходу, Касимов решил следить за его вагоном вплотную и поделился своим планом с тормозным. Старик посмотрел на него, как на сумасшедшего, и, только повторно проверив при фонаре документы, согласился посадить его на крышу вагона.

Сила метели, удвоенная ходом состава, заставила Касимова ползти по крыше, распластав руки и ноги. На другом конце вагона тормозной площадки не было. Касимов забыл об этом и теперь, чувствуя, как стынет тело, понял, что остается единственный выход: прыжок на черное туловище цистерны, мотающееся с грохотом в темноте перед ним. Это было трудно, почти невозможно, и все же необходимо.

Колеса выстукивали однообразный трехтактный ритм, и Касимову слышалось:

– Ста-лин-град... Ста-лин-град... Ста-лин-град ...

Навстречу из метели вырвались огни разъезда. Спружинив тело на краю крыши, Касимов дождался первого фонаря и прыгнул. Ноги скользнули и разъехались врозь, это спасло его от неминуемого падения вниз, в бешенство колес, осей, шпал. С бьющимся сердцем он оседлал цистерну ногами и руками, размазывая нефть по жгучему металлу. Передвигаясь короткими рывками вперед, он добрался до горловины и по лестнице спустился на подветренную сторону. Только здесь он почувствовал расслабленность рук и ног после прыжка и засунул ладони под полу шинели, стараясь согреть на животе онемевшие пальцы.

Состав мчался, все увеличивая скорость. Проносясь мимо следующего разъезда, Касимов до рези в глазах всматривался в голову поворачивающего вправо состава: двери головных теплушек были плотно закрыты – зверь не ушел!

Вспоминая впоследствии весь этот путь – с буфера на буфер, ползком по боковым брускам цистерн, с ежеминутным риском сорваться, путь, исхлеставший ему лицо иголками снега, ободравший до крови все пальцы, путь, на котором весь он облип черной слизью мазута и потерял всякий человеческий облик, – вспоминая этот путь, Касимов невольно съеживался. Сначала он считал пройденные ползком цистерны, потом сбился и стал считать разъезды, сквозь которые состав пролетел все так же стремительно и безостановочно.

За последним у Карагача разъездом он был почти у головных вагонов состава, оставалась еще одна цистерна. Не рассчитав прыжка с пошатнувшегося буфера, он упал животом на железный брус, и прежняя боль от удара бродяги вернулась, резанула тело и затуманила сознание. Тело его поползло вниз, навстречу шпалам и рельсам. Пальцы вцепились в ледяной жгучий металл. В изорванные, распахнутые полы шинели рванулся вихрь песка и снега, сводя ноги судорогой.

Пальцы немели и скользили. Касимов с ужасом чувствовал черное дыхание смерти.

Глава 9. ПОМОИ

Елисеев щелкнул крышкой портсигара и, в упор разглядывая Косого, сказал:
– Так... Дальше.

Косой продолжал:

– Мне сразу показалось, что эта цаца-недотрога себе на уме. Я следил за нею, но мешал Крохмалёв, – он всегда уводил нас в обход, когда она приходила к Касимову. И жила она все это время в его комнате, значит...

– Пока еще ничего не значит, товарищ Мирошенко, – вставил Елисеев, – но продолжай.

– И сегодня мы ее разоблачили.

Елисеев с притворным удивлением поднял брови:

– Да ну? Разоблачили-таки? Вы?

– Разоблачили, товарищ старший лейтенант, и вот как. Подходит № 28875, с него сгружаются старик и еще один хлюст с чемоданами, шесть штук чемоданов и все фибровые, новенькие в чехлах. А она в кассе уже билеты взяла на скорый. Тут Вася Крохмалёв и приглашает хлюста с чемоданами на осмотр, а она со стариком остались. И что же вы думаете, товарищ старший лейтенант, хлюст-то оказался призывного возраста, с просроченной броней, директор какого-то универмага. А в чемоданах...

– А в чемоданах, – перебил Елисеев, – отрезки шелка, крепдешина, ювелирные изделия и наличных денег пачками на девятьсот восемьдесят три тысячи рублей, то есть вся выручка универмага за последние перед эвакуацией недели? Так?

Оживление Косого упало:

– Вы уже знаете? Мы же недавно задержали, а вы, так сказать, уже...

– Уже, товарищ Мирошенко, уже. Но задержали не вы, а Крохмалёв, по моему заданию. Мне об этом хлюсте с чемоданами вчера телеграфировали. А вы, Мирошенко, тоже пахали, как крыловская муха.

– Я следил, – обиженно надулся Косой.

– Следил! – Елисеев презрительно хмыкнул. – За Касимовым ты следил. Скажи, Мирошенко, это ты его все за хлеб подсиживаешь, что талонов не дает?

– Товарищ старший лейтенант!

– Брось! Ты уже пятый раз ко мне ходишь и нудишь: Касимов, мол, то, Касимов – се. Тебе на его место хочется, «заградиловкой» ворочать, хапать? Не надейся, не поставлю, – у тебя глаз почерненный.

Косой вытащил из кармана смятую бумажку и торжественно расправил ее на столе Елисеева:

– А это что? Я из кассы взял, после того как этой недотроге три билета на Ташкент выправили.

Елисеев, нахмурившись, рассматривал подпись Касимова, потом небрежно смахнул бумажку в ящик стола:

– Разберусь, когда вернется Касимов. Еще что?

Косой, ехидно улыбаясь, ударил последним козырем:

– А известно вам, товарищ старший лейтенант, что Касимов пять лет назад был исключен из партии.

Елисеев встал и, брезгливо оглядывая Косого, медленно, растягивая слоги, парировал:

– Известно, уважаемый товарищ Мирошенко, известно. И то известно, что исключили его по настоянию твоего брата, которого Касимов за руку в казенном добре поймал. Так?

Косой растерялся и, покраснев, стал разглядывать кубанку, словно отыскивая внутри ее новые доводы.

– А Касимову что пришили? Подрыв авторитета члена бюро горкома. Ни много ни мало, ходи и доказывай, что ты не верблюд.

Помолчав и подумав, Елисеев продолжал, не глядя на Косого, как бы разговаривая с самим собой:

– Касимов перед партией в одном виноват: не довел до конца свое дело, не добился восстановления. Почему? Знать его надо, Касимова. Чтобы выводы делать. Он такой – за других душу отдаст, а за себя слова не замолвит. Он мне «заградилровку» организовал и наладил так, что о ней слава по всей дороге идет. Ну, допустим твой вариант: за дело исключили Касимова. Так что же, его до могилы надо помоями поливать? Нет, дружище, нет, иначе партия думает. Партия вот разную шваль да в труде на Беломорском канале переварила, людьми сделала, орденами наградила. Партия Рамзину-вредителю дала его любимое дело, и что? У нас в активе два плюса: и прямоточный котел, и перерожденный человек с наградой. Ему доверяли и проверяли на деле. А если б по-твоему: шпынять все время человека прошлым да в сторону отпихивать? Вышел бы тунец, озлобленный на все, на партию, на советскую власть. Было туго нам – ставили людей к стенке, иначе тогда нельзя было. А теперь мы кто? Сила, такая сила, что вот хваленая немецкая машина всех давила, а нас не может – кишка тонка. Ты, друг, вспомни Конституцию, где ты еще найдешь такое, как у нас, чтобы только личные способности и личный труд определяли место человека в обществе?

Косой порывался что-то сказать, но Елисеев подытожил разговор:

– Так-то, друг-приятель Мирошенко. Так и работать будем. А насчет касимовской записки в кассу посмотрю, но думается мне вот что: конь о четырех ногах и тот спотыкается, а лупить его за это кнутом только дурак извозчик станет. Расковалась подкова – твой недосмотр, подкуй, да гляди, чтобы гвозди в мясо не забить. А в душе человека не то что гвоздь, песчинка и то царапину сделает. Иди, Мирошенко, иди.

Елисеев снял трубку давно и назойливо звонившего телефона. Звонил комендант Карагача.

* * *

Следя за рельсами и шпалами, несущимися ему навстречу, Касимов почувствовал приступ предсмертной тошноты, заставил себя поднять глаза и увидел, что пальцы рук уже почти съехали со спасительного бруса и сейчас соскользнут совсем.

Резкий толчок торможения, больно ударивший Касимова скулой о железо, вернул его из кошмара к действительности, которая тоже была кошмаром не менее жутким, чем секундное забытье. Последним усилием воли Касимов приказал руке продвинуться вперед, и так, вися на одном локте, он услышал впереди гудок паровоза, а под ногами перебойный грохот колес по стрелкам Карагача. Только теперь он почувствовал, что метель впиалась ледяными пальцами в непокрытую голову и тисками сжала виски.

Он упал на умолкнувшие рельсы, и заторможенное колесо цистерны чуть прижало полу шинели в каком-то сантиметре от его ноги.

Его оттащили чьи-то руки, и молодой задорный голос крикнул:

– Здесь, вот он! Не уйдешь, гад!

Касимов понял, что состав встречен, как полагается, что его измазанного, в обрывках шинели приняли за бродягу, и хрипло твердил:

– Четвертый вагон, держите четвертый вагон, ищите в четвертом вагоне!

Товарищи, держите!..

Руки держащего ослабли. Его положили на спину. По лицу хлестала все та же метель, которой он теперь не чувствовал. Потом он услышал скрип отодвигаемой вагонной двери и резкий повелительный окрик того же молодого голоса:

– Выходи, гад!

Это было последним, что вошло в гаснущее сознание Касимова.

Глава 10. В СЕМЬЕ

После двухнедельного нестерпимого жара и бреда в карагачской больнице, осунувшийся, нетвердым шагом вошел Касимов в свою «заградиловку». Крохмалёв и Невеличка шумно, с искренней радостью облапили его, стараясь не тронуть забинтованных рук. Косой молча кивнул головой, как всегда глядя куда-то вбок. Крохмалёв, видимо, верховодил и, уже войдя в свою роль старшего, добродушно-строго покрикивал на остальных. Рассказав между делом обо всем, чем жила все это время «заградиловка», он вскользь упомянул о бродяге, но тут же прикрыл рот мясистой ладонью и заявил, что подробности опишет Елисеев, который сейчас дома и ждет его – Касимова – на «шнапс-тринкен» по одному торжественному поводу.

Он поднял палец вверх, оглядел всех и вновь захлопнул рот ладонью:

– Молчу, молчу! Не приказано говорить.

Глаза Касимова упорно спрашивали еще об одном, но Крохмалёв подмигнул на дверь и, бережно поддерживая его под руку, вывел на перрон.

Ковыряя снег носком валенка, Крохмалёв явно оттягивал ответ на немой вопрос Касимова, пока тот почти грубо не бросил:

– Ну!

Тогда Крохмалёв снова взял его под руку:

– Нехорошо вышло, Леша. Хлюста ее мы стали проверять; дружба дружбой, а служба службой, ничего не поделаешь. Оказалось – призывной. Свели его к Елисееву, а тот вроде знал кой-чего – велел в чемоданах пошукать, ну и...

Крохмалёв рассказал все, что знал о директоре универсама и его багаже.

– Твою записку на билеты Косой выудил из кассы и подсунул Елисееву, будет тебе на орехи, а мне уже было, что промолчал.

Касимов стоял, как оглушенный неожиданным ударом. А как же Эсфирь? Знала она об этом или нет? Касимов развертывал в памяти ленты ее рассказов об эвакуации, о том, как она ночью в последнюю минуту перед отходом эшелона была подвезена чьей-то машиной к теплушке и втянута в нее уже на ходу; как мучилась она в душной тесноте, не зная, где и чьи ноги, руки, вещи; как муж грозился на каждой станции, что он не позволит никому больше сесть в их вагон, так как он везет государственное имущество; как он с упорством

ревнивца спал заячьим сном на острых углах этого багажа, просыпаясь при каждом стуке двери.

Нет, Эсфирь не могла знать о темных махинациях мужа. За это говорила ее скромная, потертая на локтях и рукавах шубка, чулки, видимо единственные, на которых Касимов видел следы штопки, скромные потребности в еде – о чем рассказывала ему старуха-татарка, хозяйка квартиры, приходя в вокзальную столовку за обедом для себя и Эсфири. Об этом говорили, наконец, и глаза Эсфири честные и чистые, без намека на что-либо скрытое, темное.

Задумавшись, Касимов пропустил часть повествования Крохмалёва и уловил только конец:

– ...конечно, там, в НКВД, Байтасов прижал его к стенке, прихлопнул неоспоримыми доказательствами, и хлюст засыпался окончательно. Ну, ее тоже допрашивали, и старика того – ее батьку, а из него уже песок сыплется. Посмотрел Байтасов, пару дней промурыжил еще и отпустил. Что был с ней чемоданчик, да у старичка баул с продуктами – с тем и уехали, я сам сажал их в ташкентский. Косой, как узнал, что ее отпустили, сунулся было провожать, да с любезностями, но я ему с подножки валенком в рожу. В вагоне я их устроил прилично, она все благодарила, и старичок благодарил. Потом вышла со мною в тамбур и говорит: «Передайте, мол, Алеше...»

Касимов вздрогнул, Эсфирь ни разу не назвала его по имени.

– «...передайте Алеше...» А что передать, так и не сказала. Только слезинки, вот такие крупные по щекам, да на шубку кап-кап. Я спрашиваю: что передать? А тут отправление, и я соскочил, а она только рукой махнула, вроде ничего, мол, и еще что-то сказала, но я не расслышал, потому что паровоз гудел, и встречный громыхал по второму пути.

Крохмалёв виновато пожал локоть Касимову и побежал, прихрамывая, за каким-то солдатом, одетым не по форме.

* * *

В комнате Елисеева, как всегда, было тихо, светло и уютно. Шестилетняя Ниночка, привычно забравшись Касимову на колени и обняв его за шею, другой ручонкой, как куклу, баюкала его забинтованную руку. Авдотья Петровна – мать Елисеева – раскладывала по тарелкам винегрет и участливо слушала рассказ Касимова о путешествии по цистернам, ахая на каждом жутком месте.

Елисеев разливал в стаканы синеватый денатурат, или, как он его окрестил, – автоконьяк, обжигающий горло и перехватывающий дыхание.

Ослабевший Касимов захмелел легко и быстро. Прижимаясь щекой к шелковистым волосам Ниночки, он не отказывался от новых порций «горючего» и чувствовал себя, как дома.

Скинув неизменный френч и расстегнув ворот белоснежной сорочки, Елисеев подбадривал его:

– А ты пей, пей, аппетит лучше будет. Тебе теперь поправляться надо быстрее. Серые глаза его шурились в мягкой улыбке:

– Ты не знаешь, какого ты осетра выловил? Я был сам у Байтасова, когда твоего бродягу привезли и допрашивали. Обыскали всего – пусто. Раздели, одежду-барاخло все перетрясли, по швам распоролы – ничего, кроме вшей. Только у Байтасова глаз наметан, на вороных не обскачешь. Подметил, что бродяга как

разделся, так сразу в ботинки ноги сунул – у меня, говорит, ревматизм, не могу босой стоять, и мозоли с холоду мучают. Байтасов этак сочувственно ему поддакнул: что ж, мол, я тоже не зверь, понимаю, если у человека ноги больные, значит, можно ему уважение сделать. Зовет он завхоза и говорит: «Вот что, Кайшегулов, там третьего дня с мертвяка хорошие валенки остались, так ты их, пожалуйста, вот этому гражданину дай. У него ревматизм и мозоли». Бродяга осклабился любезно и отнекивается: «Спасибо, спасибо, я всю жизнь в ботинках проходил куда мне, такому оборванцу, и такие хорошие валенки; еще кто скажет – украл». А Байтасов снова: «Ничего, ничего, никто не обидит – у меня, как за каменной стеной. Сними, Кайшегулов, ботиночки гражданину».

Расстиляет Байтасов газету на столе, ставит на нее ботинки, оглядывает эту рвань со всех сторон и говорит: «Ботинки, конечно, рвань, а вот каблук приделан здорово, жаксы каблук – век сносу не будет». Бродяга руку тянет: «Так и я говорю – сносу не будет, доношу. Это мне в Пензе холодный сапожник каблук чинил». Байтасов руку его отстраняет и тянет задумчиво: «Нет, это не пензенская работа, пензяки в каблук вот такие гвоздищи бьют, а здесь – винты вкручены. Кайшегулов, отвертку!» Я смотрю на бродягу, а тот хоть и голый, а весь потный, и губа трясется. Байтасов каблуки отвинтил, а они внутри полые, и в каждом по коробочке из пластмассы, а в коробочках...

Елисеев растянул паузу, вновь доливая стаканы, и неожиданно перескочил на другую тему:

– Я тебе выговор в приказе закатил за твою записку о трех билетах в Ташкент, не обижайся, каждому свое по заслугам. Тебе штамп помощника коменданта не для того дан, чтобы ты всяким...

Заметив погрустневшее, болезненное лицо Касимова, Елисеев перевел взгляд на дочку. Она спала, все так же, как куклу, прижав к груди руку «дяди Леши».

Без всякой связи с предыдущим, видимо, захмелев с непривычки к спиртному, Елисеев сказал:

– А у меня, друг, тоже жена ушла.

Как будто это «тоже» относилось к Эсфири и к Касимову, хотя сравнений здесь быть не могло. Касимов знал от Авдотьи Петровны личную трагедию Елисеева, вернувшегося с финского фронта к разбитому семейному корыту, к дочке, оставшейся со своей бабкой, и к воспоминаниям о той жизни, которая никогда не войдет больше в дом в образе молодой самоуверенной и легкомысленно-кокетливой женщины, так и оставшейся здесь омертвленной, застывшей на фотокарточках в альбоме.

Чтобы отвлечь его от воспоминаний, Касимов напомнил:

– А в коробочках, Сергей Николаевич?

– Ах, да, – словно очнулся Елисеев, – в коробочках, друг, интересные вещи: план наших нефтепромыслов с пометками, список явок и паролей и строжайший приказ одного сумасшедшего из Европы – форсировать выведение нефтепромыслов из строя действующих. Вот тебе и провинция, вот тебе и захоластье, вот тебе и глубокий тыл, и войны тут не было, а фронт и нашей нефтью кормился. Байтасов сам на промысла выехал и в один день всех «чижииков-пыжииков» накрыл.

Елисеев покачал пустой стакан и, осторожно сняв Ниночку с колен Касимова, перенес ее на кровать:

– Раздень, мама.

– Сергей Николаевич, – умоляющим тоном заговорил Касимов, – когда ж вы меня на фронт отпустите?

– А тебе куда бы хотелось?

Касимов задумался:

– К Ленинграду, родные места, я там каждый кустик знаю. – И добавил горько: – Нет там теперь кустиков. А я здесь проедаюсь, со всякой мразью вожусь. Ведь я ж строевик, Сергей Николаевич.

Елисеев молчал. Касимов настойчиво, словно штатскому, доказывал:

– Шел немец на Ленинград, и Ленинград задержал его.

Елисеев оживился и в тон ответил:

– Шел диверсант за Актюбинск, на нефть, и Актюбинск задержал его... Кстати, Байтасов подал тебя к награде. Я присоединил и от себя, что полагается. Нос сверху не дери, но «заградиловку» ты мне наладил любовно... На фронт? Придет и наш черед, Алексей Иванович, друг сердечный – таракан запечный. Тут тоже не легче. Выпьем по последней.

Авдотья Петровна застлала постель свежими простынями. Елисеев мастерски взбил подушки:

– Прошу, товарищ помощник, располагайся и спи. Я до утра не вернусь – место вакантное, с плацкартой. – И дружески обняв его за плечи, сказал вполголоса: – Трудно тебе, Иваныч, вижу. Вот и ночуй в семье. В семье всегда легче. Я, пожалуй, так же, как и ты, любил – враз, всерьез и всем сердцем. Ну, спи. Мама, ты не давай ему думать. Мир дому сему, а я – к своему.

Глава 11. ВИНО И ЕЛЕЙ

До болезни Касимов, как старший, день ото дня все больше и больше времени проводил непосредственно в помещении «заградиловки». Так было лучше для всей комендатуры и особенно для Елисеева: и он, и его диспетчера имели теперь полную возможность заниматься своим прямым делом – организацией четкого продвижения эшелонов по участку – не отрываясь на мелочи, вся масса которых лежала теперь на «заградиловке», отделявшей кабинет коменданта от перрона общими проходными дверями. Порой Касимов оставлял за себя Крохмалёва и, освежая насквозь прокуренную голову, совершал обходы путей и составов, залезая на высокие объемистые скреперы, втискиваясь между тюков, бревен и досок, пролезая под составами, на ходу вспрыгивая и соскакивая с площадок, всюду и все высматривая, подмечая, запоминая.

Эшелоны несли на восток и запад не только молчаливые орудия труда и боя, не только лес, сталь, нефть, уголь, руду, сено, зерно, станки, машины, но и то главное, для чего существовала «заградиловка». Сотни языков, тысячи наречий звенели в ушах, и охватить, понять все их многообразие было просто невысказимо. Касимов умело использовал подчиненную ему тройку для более тесного общения с этой массой людей, текущих через Актюбинск. Флегматичный, но исполнительный Невеличка в совершенстве владел «украинской мовою» и вытягивал из приезжих земляков все, что ему было необходимо. Крохмалёв, работавший до войны трактористом МТС, в непрерывном общении с местными колхозниками неплохо освоил казахский разговорный язык, немного понимал по-татарски и по-узбекски

и, как бывший беспризорник, легко «объяснялся» на блатном жаргоне с чумазыми пацанами и оборванцами. Косой, когда-то побывавший на Дальнем Востоке, «обрабатывал» корейцев и китайцев на такой дикой смеси нарочито ломанного русского языка, что скуластые люди с улыбкой прикрывали глаза, прорезанные наось, и утвердительно кивали головами:

– Шанго, товалис, шанго, руська армейска шибко холос.

Касимов в детстве изучал немецкий и, по его схожести с еврейским, понимал оба, заставляя собеседников медленнее выговаривать слова и чаще ставить точки. Прислушиваясь к разговорам своей тройки с задержанными, он понемногу привыкал и к другим языкам, часто угадывая смысл слова не только по звуку, но и по жесту, сопровождавшему этот звук, по интонации, по выражению глаз.

Обморожение рук и гнетущая слабость после ночного путешествия по цистернам временно освободили его от круглосуточной работы в «заградиловке», хотя он и проводил в ней большую часть дня. Встреча с Эсфирью и особенно отъезд ее, сопровождавшийся арестом мужа, оставили в сердце Касимова такой глубокий, болезненный след, что надо было хоть чем-нибудь заполнить свободное время, чтобы заглушить эту боль.

Касимов набросился на словари, листал их, выписывал ходовые дорожные, бытовые слова казахского, узбекского, киргизского, таджикского языков, тех основных говоров, которые главенствовали в эшелонах актюбинского участка. Запомнившиеся слова, фразы понемногу стали раскрывать ему темные омутки речек, втекавших в поток великого передвижения народов. По обрывкам речи, по летучим фразам Касимову стало легче раскрывать людей, думавших, что ему непонятен их язык.

После отъезда Эсфири он зашел в свою комнату только раз и, подавленный ее одиночеством, боясь расплакаться у того стола, за которым сидела она, у той кровати, которая покоила сны Эсфири, боясь и желая воскрешения ее образа, он малодушно сбежал в «заградиловку», порою меняя жесткий диван на ночлег в квартире Елисеева. Ниночка по-прежнему ластилась к дяде Леше, вместе с Авдотьей Петровной уговаривая Касимова почаще бывать и ночевать у них. Елисеев пытливо всматривался в лицо Касимова, когда тот, задумавшись, не отвечал на вопросы.

– Грустишь, Иваныч? Потерпи, друг, награду вручим и тогда... Тогда, пожалуй, пушу тебя на фронт. Теперь Крохмалёв управится за тебя вполне.

* * *

Солнце в полдень стало пригревать так, что с крыш повисли сосульки, постепенно удлиняясь и порою отламываясь со звонким хрустом. Руки зажили настолько, что можно было снова начать верховодить в «заградиловке».

В первый же день Касимова поразила нежная заботливость Косого. Тот выложил перед Касимовым десяток великолепных алма-атинских апортов и, отогнув плакат, закрывавший нишу в стене, указал на бутылку ароматного разливного портвейна:

– Для вас, товарищ Касимов, подкрепляйтесь, здоровейте. Винцо и витаминчики – первое лекарство во всех случаях.

Касимов с удовольствием съел пару апортов, остальное снес Ниночке и Авдотье Петровне. Там же вечером, так и не дождавшись Елисеева, распил со старушкой портвейн.

Новая бутылка и еще пяток таких же яблок, найденные утром в нише, заставили его насторожиться. Косого не было. От Крохмалёва и Невелички заметно пахло спиртным, оба были оживлены, но на все вопросы об источнике веселья отшучивались, не отвечая толком ничего. Касимов обзлился и вышел на перрон.

У газетного киоска его нагнал горбатенький дежурный по вокзалу:

– Приступил, Алексей Иванович?

– Приступил, Саша, приступил.

– Вот и хорошо, вот и хорошо, а то последние два дня, что ты не заглядывал, твои ребята совсем избаловались. Винишко, винишко, Алексей Иванович, губит людишек, – выдыхал Саша, и Касимов чувствовал в его вздохах тот же аромат, который встретил его с утра в «заградилровке».

– Саша, ты клюкнул?

– Ага.

– С ребятами?

– Угу.

– Где?

– Золотое дно, Алексей Иванович. Косой такую россыпь нашел, что черпать – не вычерпать.

Саша сплюнул и виновато посмотрел на Касимова:

– А мне все же стыдно. И к Елисееву пойти сказать стыдно. Ведь я сам в этом золотишке обмарался по уши.

– Где? – настойчиво повторил Касимов.

– На девятом пути, в тупик загнали вагон. Санврач «на карантин» поставил, а твой Косой провожатому грозит военкоматом. Вдвоем сосут из одного теленка и нас, кто пронохал, втянули в это грязное дело. А там груз в Москву, для госпиталя вино и фрукты. Я только сегодня накладную подглядел. И так стыдно стало мне, Алексей Иванович, что мочи нет. Думал, это для рынка, и пользовался по дешевке, а оно, видишь ли, что...

Касимов крупно зашагал к тупику, бросив сконфуженного Сашу у киоска. Вплотную к паровозному кладбищу, за стеной надолго приросших к крайним путям составов прилепилась невзрачная теплушка. Рванув дверь, Касимов вскочил в вагон. В лицо пахло сочным ароматом яблок и вина. На перевернутом ящике стояли три темные бутылки. Пол был заплеван огрызками яблок и колбасной кожурой.

Раскрасневшийся Косой замер было с кружкой в руке, потом растянул рот в улыбку и слащаво заговорил, заплетая языком:

– Алеша, друг, начальник мой дорогой. Тебя только и ждем. Попов, кружку, Попов, еще пару портвейна, садись, Алеша.

Покачиваясь и расплескивая вино, он встал, освобождая место. Тогда только Касимов увидел сидящего сзади Косого проводника в потертой чуйке и в распахнутом овчинном полушубке. Тот тоже был пьян и тщетно пытался встать, боязливо поглядывая на нового «начальника», словно спрашивая: и этого тоже поить?

Касимов почувствовал закипавшую злость и, ткнув пальцем в кружку Косого, спросил:

– Это что?

Косой сделал невинное лицо:

– Вино, товарищ начальник, вино, марка портвейн, цена – пять пальцев и ладонь, пей, заливайся.

– Эт-то что, я тебя спрашиваю! – прикрикнул Касимов.

– Распивочно и на вынос, – гаденько хихикая, продолжал Косой, – сами вы пили вчера и яблочками закусывали на доброе здоровьице.

Касимов вспомнил, как вкусно вгрызались зубки Ниночки в сочную мякоть апорта, как Авдотья Петровна, причмокивая сморщенным ртом, с удовольствием прихлебывала портвейн, как он сам легкомысленно принял подарок Косого.

И тут же, как пощечина, ударили в голову слова Елисеева в день организации «заградиловки»: «Люди через вас будут идти грязные, а вы должны быть чисты, как стеклышко, на глаз, на руку, на совесть – на все».

Выбив кружку из руки Косого, Касимов схватил его за грудь и потряхнул:

– Марш домой! Протрезвись, завтра доложу Елисееву, и сматывай удочки ко всем чертям.

Приходя в себя, Косой старался оторвать от себя пальцы Касимова, скомкавшие отворот пальто:

– Зачэм сэрдыцца, дюша мой, – шибко шанго вино пить, зачэм дамыой, зачэм к чертям. Нам и тут хорошо, мы за чужой жена нэ бэгали, мы им записки на билеты нэ пишым, мы нэ глядым им в их...

Ах, эти карие глаза

Меня плени-и-ли...

Косой икнул и закачался, исподлбья наблюдая, как искрится гнев в глазах Касимова.

Потом нагло вато усмехнулся и стряхнул его руку:

– Ах, ах, испугали, товарищ начальничек, коленки дрожат. Значит, коменданту доложите?

– Доложу.

– Тэк-с, тэк-с, сказал слепой, когда прозрел. Вы и про свой десяточек апортиков и про бутылочку тоже доложите, – слопали и ох не сказали.

– Доложу, про себя первого доложу, потом про тебя. Сволочь ты, Косой, обмарал нашу комендантскую гордость. А ты, червячок-мужичок, – обратился он к проводнику, – чего молчал?

Тот, трезвея, но все так же испуганно посмотрел на Косого:

– Они-с меня хотели в военкомат снять, а у меня свидетельство об освобождении дорогой просрочилось. А разве я могу товар бросить – меня под суд за него...

– Давай свидетельство.

– Оно у них-с.

– Косой, давай свидетельство.

Тот небрежно выхватил из кармана бумажку.

Касимов прикрикнул:

– Ты! Я тебе швырну! Марш на станцию, скажи, чтобы вагон запломбировали, а этого сам, понимаешь, сам сведешь в военкомат, продлишь его свидетельство и доложишь мне. Понятно?

– Понятно, товарищ начальничек, а только уж вы ведите его сами, я вам не слуга, – и Косой, неуклюже выпрыгнув из вагона, зашагал к семафору.

Глава 12. ПРОЩАЛЬНАЯ

Капитан пехоты благодарно жал руку Елисеева:

– Спасибо, спасибо, товарищ старший лейтенант, я уже считал вещи пропавшими. Сошел, понимаете, в Чкалове побриться, а поезд и ушел. Я туда-сюда, нет, говорят, это скорый, и вам его не нагнать. На всякий случай пошел в комендатуру, оставил у них телеграмму для вас, и, вот он мешок, сняли ваши ребята спасибо им.

– Ничего, не стоит, – улыбнулся Елисеев, – это их обязанность. Проверьте, товарищ капитан, по описи целость вещей и распишитесь. Нет, нет, уж вы все проверьте, таков порядок.

Капитан развязал вещмешок, переложил вещи и замялся:

– Простите, товарищ старший лейтенант, но...

– Что? Не все в порядке? Не может быть.

– Вот и я думаю, что не может быть. Это, наверное, соседи по купе, пока ехали до вас, проверили мой мешок. Не хватает бинокля.

Елисеев сконфуженно встал:

– Касимов! Весь наряд сюда! Так. Ну, хлопцы, кто снимал с поезда вещи капитана?

– Я снимал, – отковырнул Крохмалёв.

– Опись составили сразу?

– Никак нет, товарищ старший лейтенант.

– Почему?

– Один за другим прибыли три пассажирских, заметался я в обходе и опись составил после них. Часа два тому назад.

– Бинокль был в мешке?

– Никак нет, товарищ старший лейтенант, не было там бинокля.

Капитан замахал руками:

– Да бросьте вы, ерунда! Подумаешь, бинокль.

Елисеев нахмурился:

– Нет, не ерунда. У меня в комендатуре краж нет, и не будет.

– Так и я тоже говорю. Это, наверное, в поезде спутники подцепили.

Елисеев перевел взгляд на остальных.

Касимов доложил обстановку:

– В пассажирском поезде железнодорожники сняли с маршрута один из вагонов, которому потребовался срочный ремонт. Я с Величко и Крохмалёвым включились в разгрузку этого вагона и в распределение пассажиров по другим и без того переполненным вагонам. Суета была невероятная. Надо было успеть втиснуться в график движения поездов. В комендатуре на справке оставили Мирошенко, поскольку в оперативной работе толку от него, как всегда, немного. Вернулись, взмыленные, пару часов назад.

Елисеев перевел взгляд на Косого.

Тот как-то съезжился под проницательным взглядом коменданта, но быстро залопотал:

– А я что: на меня одного бросили комендатуру, и будь здоров, отдувайся тут за всю команду. Пока они там прохлаждались на свежем воздухе, я должен был отвечать здесь всему свету на град вопросов. Да у меня и секунды не было при-

сесть, чтобы передохнуть от назойливой толпы. Из помещения «заградиловки» я и шага не сделал, а уж на вещмешок этот и вообще внимания не обратил. Потом, когда все вернулись, Крохмалёв там что-то копался и писал.

Крохмалёв гневно побагровел, но Елисеев движением руки успокоил его:

– Ну что ж, понятно. Если за последние часы из помещения никто не выходил, значит, искомая нами вещь должна быть здесь. Быстренько осмотрите помещение.

Общие поиски не потребовали много времени: диван, шкаф с бумагами, пара тумбочек, письменный стол помощника коменданта и небольшой стол для посетителей. Ничего излишнего обнаружить не удалось.

– Да зачем искать то, чего у нас быть не может. Ясное дело, в поезде спутники у капитана вещицу повзаимствовали, – произнес Косой, обводя всех убеждающим взглядом.

Внезапно Елисеев подошел к Косому и отодвинул его в сторону. Потом сделал ногой резкое движение и опрокинул стоящую за спиной Косого мусорную корзину, на которую никто не обратил внимания, а Косой, стоя рядом, прикрывал ее собою. Из корзины выпали остатки каких-то смятых бумаг и тяжелый сверток, завернутый в газету. Недоуменные глаза всех присутствующих устремились сначала на сверток, а затем на Косого. Крохмалёв нагнулся и развернул сверток – в нем лежал полевой бинокль.

Косой позеленел, со стороны его фигуры донеслось отрывистое всхлипывание и неясное бормотание:

– Да я... Да я что... Я ничего... Думал все одно: ненужное это... Человек-то не на фронт едет, а совсем в другую сторону... Ему такая вещица все равно лишняя... Вот в корзинку-то и отбросил...

Капитан с презрением и брезгливостью посмотрел на Косого:

– В тылу, как я вижу, народ разный остался. Для большинства из них фронт и тыл неразделимы, это их общая боль и смысл жизни. А для кого-то тыл – это темная нора, которая нужна лишь для того, чтоб поукромнее спрятать в ней свое тело, да не забыть при этом еще и поживиться чем-нибудь, что плохо лежит...

Касимов взглянул на Елисеева: обычно строго выдержанный комендант сейчас весь потемнел, глаза были наполнены гневом.

Глядя в упор на дрожащего Косого, он отчеканил:

– Мародеров в моей комендатуре не бывало и не будет. Завтра же добьюсь твоего отчисления из «заградиловки». А сейчас вон отсюда, пока мои бойцы-соратники не набили тебе паскудную морду. Убирайся!

Косой исчез в одно мгновение.

Елисеев виновато посмотрел на капитана:

– Прости, фронтовик. Сам видишь, в какие ситуации нам попадать случается. Такие моменты – все равно, что разрыв мины рядом с твоим окопом. И убить не убил, а души всем изрядно и надолго изрешетила. Держи, капитан, свой бинокль. Твой поезд стоит на втором пути. Невеличка, проводи фронтовика. В добрый путь, капитан, не поминай нас лихом и не отставай больше.

Капитан пожал на прощанье всем крепко руки и вместе с Невеличкой вышел на перрон.

В комнате воцарилась задумчивая тишина. Никому не хотелось говорить. Так прошло несколько минут.

Внезапно дверь отворилась, и в комнату комендатуры снова вошел капитан.

– Друзья! – обратился он сразу ко всем. – Я чуток подумал и решил, что пусть все-таки мой бинокль останется здесь, в вашей комендатуре. Это будет моей благодарностью за вашу принципиальность, честное отношение к своему делу и как напоминание о случившемся происшествии. Я чувствую, что за ваше маленькое подразделение заградительной службы на железной дороге можно быть спокойным. Оно не подведет никоим образом. Еще раз спасибо вам, будьте здоровы и счастливы, насколько это возможно в трудное военное время.

Капитан внимательно посмотрел на смутившегося Елисеева, еще раз пожал всем руки и закрыл за собой дверь.

* * *

На другой день утром пришел с запада санитарный поезд. Касимов с Крохмалёвым вышли на платформу.

Прибытие санитарных поездов всегда создавало определенную напряженность, но хаоса и излишней суеты при этом не было. Открывались двери вагонов. Санитары и легкораненые выгружали из них носилки с ранеными товарищами, которые имели направление в актюбинский госпиталь. Навстречу им несли коробки, баки, термосы, узлы, в которых были медикаменты, продукты, белье и что-то еще очень необходимое в пути для обслуживания больных и раненых. Все это целенаправленно и быстро перемещалось, не путаясь и не останавливаясь ни на минуту.

Какими-то неведомыми путями слухи о прибытии санитарного поезда доходили до местного населения. К поезду просачивались женщины, давно утратившие связь с ушедшими на фронт мужьями, отцами, сыновьями. Им почему-то казалось, что именно здесь, именно сейчас они смогут встретить того близкого человека, от которого нет никаких вестей, кого они так долго и безнадежно ждут, пусть раненого, искалеченного, но непременно живого.

Эти утомленные женщины темным ручейком струились вдоль вагонов с большими красными крестами. Всматриваясь в лица раненых, они с затаенной надеждой спрашивали бойцов:

– Степанова Николая не встречали?.. Про Мыкиту Карпенюк ничего не бачили?.. Сархана из Дербента не доводилось встречать?.. Про Евсюкова из Сызрани, может, слышали?..

Худенькая женщина в телогрейке, скромном сером платочке, с большими серо-голубыми глазами на бледном лице ухватила бойца с загипсованной до плеча рукой:

– Миленький, может, ты случайно про моего Васю что-либо слышал, полгода никаких вестей от него нет?!

Боец сочувственно напрягает лоб и морщит брови:

– Василий, говоришь?.. Да у нас в соседнем взводе был вроде бы такой парень. Василием звали точно, фамилию вот не припомню, высокий такой из себя, стройный.

Женщина оживилась, ее лицо засветилось слабой надеждой ожидания:

– Ну, конечно же, высокий, стройный такой. Вспомните. Наверное, это мой Вася, он ведь у меня самый лучший...

Боец продолжает:

– Бои у нас на Дону были тяжелые очень. Тут уж всем не до писем было. Ранено меня в бою снарядом и контузило. А рота вперед ушла, и Василий твой, стало быть, тоже. Трудно им очень приходится...

Женщина с надеждой прижимается к загипсованной руке бойца.

Слезы радости и призрачной надежды капают на забинтованную руку воина:

– Живой, мой Вася... живой... живой... Ну конечно, живой...

Боец смущенно гладит женщину здоровой рукой по платку:

– Ну конечно, живой. Жди, милая. Надо обязательно ждать и надеяться...

Мимо Касимова с Крохмалёвым медленно бредет пожилая пара в пестрой национальной одежде: седой аксакал с короткой реденькой бородкой и такая же седоватая сморщенная казашка в цветастом платке. Оба бережно поддерживают друг друга, с затаенной надеждой всматриваются в лица соотечественников, мелькающие в вагонах поезда, и робко спрашивают:

– Батыржана, Даурена не встречали?..

Эту бесконечную фразу они повторяют у каждого вагона и, не получив утвердительного ответа, тихонько шаркают своими старческими ногами дальше.

Крохмалёв пояснил Касимову:

– Эти старики проводили на фронт четверых сыновей. На двоих из них им пришли похоронки. А двое других пропали без вести. Так вот надеются старики увидеть своих сынков, хотя бы среди раненых, к каждому санитарному поезду приходят.

– Батыржана, Даурена... не видели?..

Николай, Мыкита, Сархан, Василий, Батыржан, Даурен... и другие имена, исходящие из опечаленных женских ртов, продолжали бесконечно пульсировать в голове Касимова, когда он возвращался с Крохмалёвым в помещение своей «заградиловки».

Сколько боли, страданий и печали подминали под себя колеса этой жестокой и беспощадной войны...

* * *

В помещении комендатуры Елисеев пригласил всех в свой кабинет. Вошедшие не сразу заметили, что в углу комнаты, съезжившись и вжавшись в стул, сидел Косой. Никто с ним здороваться не стал, вошедшие постарались не замечать его, как не обращают в доме внимания на какой-нибудь табурет или иной предмет мебели.

– Есть новости, – без всякого вступления заговорил Елисеев. – Двоих из нашей команды отправляют поближе к немцам. Мирошенко получает направление в ближайший от нас лагерь военнопленных, в роту охраны. Там, за колючкой, для него будет более подходящий контингент. Да и нам без него в суете нашей «заградиловки» станет дышать легче. Вот направление. Завтра с утра прибыть в распоряжение начальника лагеря.

Елисеев положил направление на край стола. Косой, пошатываясь, выполз из своего угла, дрожащий рукой сгреб со стола направление и так же молча, ни с кем не прощаясь, вышел за дверь кабинета. Все разом почувствовали заметное облегчение.

– Второе направление, – чуть помолчав, продолжал Елисеев, – в предчувствии скорого расставания, я вручаю с глубоким сожалением. Это направление на сбор-

ный пункт для отправления на фронт. Оно выдано в ответ на рапорт, поданный три месяца назад нашим другом и товарищем по команде Касимовым. Честно говоря, мне очень не хотелось бы с ним расставаться. В нашей «заградиловке» он был моим первым помощником и достойно выполнял свою напряженную повседневную работу. Да вы сами это знаете. Но наш товарищ рвется на фронт. Недавно у него в блокадном Ленинграде умер старший брат. Человек измучился в тыловой обстановке, хотя наш тыл тоже мало чем отличается от фронта.

Касимов глубоко задышал и поднял глаза кверху.

На плечи легли руки товарищей:

– Ну, Алеша, поздравляем. Жаль все же с тобой расставаться. Нам будет очень не хватать тебя. Бей врагов-фашистов, пока они топчут нашу землю. И пусть на фронте тебя не затронут ни пуля, ни осколок... Мы будем ждать тебя, наш дорогой друг и товарищ...

Елисеев приостановил всех:

– Дружище, ты и раньше почти не имел свободного времени, а теперь его и подавно не будет. Сейчас отправляйся к матери, она еще не в курсе твоих новых событий. Завтрашний день отводится на сдачу дел, а затем тебе надо быть в военкомате на сборном пункте. Сколько отведено времени на формирование воинского эшелона из нашего города, я точно не знаю.

* * *

Мать была одна в своей маленькой комнатушке. Было видно, что она простужена и двигается с трудом, преодолевая недомогание.

– Я как раз ждала тебя, Алешенька, – сказала она, обнимая его.

На столе стоял укрытый теплым платком чайник. На блюде лежали невеста откуда взятые простенькие печенье и несколько конфеток – целое богатство по меркам военного времени.

– Откуда это? Да и как, мама, ты могла знать, что я приеду сегодня?

– Ну как же, Алешенька, ведь сегодня твой день рождения. Разве какая мать может забыть об этом?

Только сейчас, словно очнувшись, Касимов прозрел: за всей текучкой напряженной жизни «заградиловки» он совершенно забыл о собственном дне рождения. И только для матери этот день никак не мог остаться без внимания и ожидания сына.

Ее глаза наполнились тревогой и печалью:

– Я сердцем чувствую, сынок, что у тебя произошло что-то серьезное...

– Да, мама, в ближайшие дни я отправляюсь на фронт. Ты ведь знала, что я подавал рапорт об этом. Сегодня я получил повестку из военкомата. Она для меня, видимо, что-то вроде поздравления ко дню рождения. Я нужен на фронте, я должен отомстить фашистам за своего брата, за наш Ленинград, за нашу землю, которую топчут вражеские сапоги.

Мать припала к его груди:

– Сердцем и душой я понимаю тебя, сынок, но мне будет очень тяжело без тебя... Я буду молиться за тебя, за всех, кто с тобою рядом. Как и все матери, буду с нетерпением ждать твоего возвращения.

Мать и сын присели на кровать, обнялись и так долго молчаливо сидели один около другого, погруженные в собственные мысли. Они забыли про остывший

чайник, обоим хотелось продлить этот вечер до бесконечности. Хотелось забыть, что где-то грохочет война, рвется на части железо, поднимаются в атаку и падают люди...

– Я буду часто писать тебе, мама, – сказал Алексей, вглядываясь в тревожные глаза матери, перед тем как закрыть дверь. – Ты только сама береги себя. Я вернусь.

Он быстро зашагал прочь от дома, чувствуя, как его фигуру провожают из окна любящие глаза матери:

– Храни тебя Господь, сынок, от болезни, от пули, от беды!..

* * *

Следующий день Касимов занимался оформлением документов, сбором нехитрых, но нужных в предстоящую дорогу вещей. На бывшем своем рабочем месте он оставил для товарищей несколько важных инструктивных пометок.

Елисеев, Крохмалёв и Невеличка подошли к нему:

– Дорогой наш друг! Мы тут посоветовались меж собой и, придя к согласию, решили подарить тебе от нашей комендатуры полевой бинокль, который оставил нам в благодарность проезжий капитан. На фронте это будет для тебя очень ценная вещь. Врага надо будет видеть хорошо и не давать ему пощады. Считай, что мы всегда с тобой, Алеша.

От теплых слов в свой адрес у Касимова защемило сердце. За прошедшие полгода он сросся душою с этими честными, простыми, открытыми людьми. Он еще не раз вспомнит о них в период суровых фронтовых будней.

– Спасибо вам, друзья, – сказал он, принимая подарок, – от всего сердца, спасибо!

– Вечером жду, – произнес Елисеев, – приходи, простимся.

Касимов прошел по привокзальной улице к старухе-татарке, у которой он снимал комнату, но в которой бывал исключительно редко. Скромная, чистенькая комнатка еще раз напомнила ему об Эсфири, которая прожила здесь почти три недели, а потом затерялась безвозвратно, как призрак, где-то в азиатских просторах.

– Салима-апа, рахмет, спасибо тебе за кров, за домашнее тепло. Уезжаю я на фронт, надолго, может быть, навсегда. Встретимся ли еще – не знаю. Пусть мир и добро всегда присутствуют в стенах твоего дома. Здоровья тебе, дорогая Салима-апа.

Глаза старухи увлажнились, она сложила обе руки вместе и склонила вниз голову:

– Да хранит тебя Аллах, батыр. Пусть солнце и месяц всегда освещают твой доблестный путь. Да хранит тебя Аллах! – еще раз повторила она.

Забрав с собой несколько мелких вещичек, Касимов вышел из дома.

Впервые за долгое время он ощутил свободу от каких-либо дел. Он понимал, конечно, что ему на это отпущен очень короткий срок – какие-то считанные часы. Медленными шагами двигался Касимов по улицам города. Его обгоняли, шли навстречу люди в гражданской и военной форме – все были напряжены и сосредоточены. Город интенсивно жил и трудился.

На городском стадионе проводились занятия учебных подразделений всеобуча. Бойцы всеобуча – это рабочие и служащие городских предприятий и учреждений. Одни группы неумело строились и перестраивались в составе отделений и взводов.

Другие группы, вооруженные длинными трехлинейными винтовками системы Мосина (образца 1891 года), разучивали приемы штыкового боя на деревянных щитах, обтянутых соломой.

При наблюдении со стороны эти упражнения выглядели порой нелепо и даже карикатурно. Но что еще можно было ожидать от разношерстной толпы людей, которым никогда не приходилось ходить строем, держать в руках винтовку, а порою даже и обычную лопату. Это были учителя, колхозники, продавцы, инженерьеры и техники шахтостроя, мастера промысловых артелей, недоучившиеся школьники старших классов. Одним было по сорок-пятьдесят лет, а другим едва лишь исполнилось восемнадцать годков. Касимов понимал, что фронт скоро перемелет и выровняет всю эту разноликую людскую массу. Война очень быстро обучает людей на собственной крови и смерти ближних.

На вершине пологой горы, недалеко от рыночной площади нервно гудел эвакуированный из Москвы завод рентген-оборудования, который по условиям военного времени значился как завод № 692. В невероятно трудных условиях разрозненному коллективу завода приходилось налаживать производство рентгеновских аппаратов для военных госпиталей. Не хватало цеховых помещений, эвакуированное оборудование оказывалось неукomплектованным, не было необходимых материалов и приборов, негде было жить прибывшим из Москвы специалистам завода... Сотни проблем надо было решать одновременно. Производственные проблемы переплетались с партийными, партийные – с хозяйственными, хозяйственные – с бытовыми, бытовые – вообще непонятно с чем... И так далее. Издавались грозные приказы и распоряжения, смещались с должностей нерадивые или неумелые люди. Дело становления завода в новых условиях продвигалось с большим трудом, но производство постепенно удавалось все же налаживать. В таком бешеном ритме работал весь тыл огромной воюющей державы...

* * *

Вечером Касимов был у Елисеева. Авдотья Петровна и Ниночка подготавливали стол к ужину.

Елисеев отвел Касимова в дальний угол комнаты и виновато заговорил:

– Извини, Алеша, но не смог я выполнить данные тебе обещания. В отношении награды за твои мытарства по цистернам и задержку шпиона-диверсанта мы с Байтасовым надеялись вручить тебе медаль «За отвагу». Но политуправление решительно застопорило наше ходатайство. Они говорят, что если у вашего героя имелся партийный проступок, то нельзя его к медали представлять. Никаких возражений с нашей стороны не принимают. Упорно твердят, что для него, мол, достаточно будет благодарности в приказе. Ну а поскольку он на фронт собирается, то там уж достойную награду подавно заслужить сумеет.

Елисеев перевел дыхание и продолжил:

– Ну и второе обещание: постараться отправить тебя на Ленинградский фронт. И здесь я тоже оказался бессилён. Военкомат готовит отправку призывников не по отдельным фронтам, а согласно разрядке из Ставки Верховного командования. Формируемый в Актюбинске в ближайшее время эшелон, как мне сообщили, предполагается следованием в район Воронежа. А там уж по обстановке – куда командование решит направить ваше формирование после ускоренного прифронтового обучения. Но ты, брат, все равно не огорчайся: враг, он везде будет

оставаться врагом до тех пор, пока не покинет нашу многострадальную землю. На твой век врагов будет предостаточно!

Они подошли к столу и сели. Ниночка взобралась к Касимову на колени, обняла за шею и прижалась к груди. Он с волнением чувствовал трепетание детского сердечка и вбирал в себя последние мгновенья домашнего уюта и мирной семейной жизни. Авдотья Петровна грустно и ласково смотрела на Алешу с Ниночкой.

– Давайте поднимем бокалы за нашего отъезжающего друга, – произнес Сергей Николаевич, – путь ему предстоит далекий и тяжелый. Фронтовые дороги ему придется преодолевать в основном на своих двоих, а часто на коленях да на животе. А навстречу ему будет нестись не только ветер, дождь и снег, а пули, снаряды, осколки. На передовой не будет рядом тихого и уютного дома, а вот смерть-старуха всегда будет бродить поблизости. Но чтобы не сломиться в такие трудные фронтовые будни, ты, Алеша, вспоминай свой край, мать, нашу семью, близких друзей. Считай, что мы рядом – это поможет тебе и, дай бог, сбережет от несчастья. Спасибо тебе за все, здесь ты оставляешь добрую память о себе. Мы тебя забывать не будем! И пиши нам.

Все немного помолчали, потом Авдотья Петровна сказала:

– Алешенька! Для меня ты так же дорог, как и для своей матери. И как бы долго ни продлился твой путь, возвращайся обратно и помни, что двери этого дома всегда открыты для тебя. И пусть хранит тебя на трудном пути Матерь Божия!

– Дядя Леша! Мы будем ждать тебя очень-очень! – тихонько добавила Ниночка, целуя его влажными губами в щеку.

Последняя ночь Касимова в этом доме была по-настоящему спокойной и безмятежной. Утром Касимов увидел на стуле около кровати два свертка. В одном из них было завернуто несколько еще теплых пирожков. В другом лежала маленькая иконка Божьей Матери, а рядом с ней, в платочке, подписанном неуверенной детской рукой: «Дяде Леше», – маленькая куколка. Ниночка ее очень любила и всегда клала на ночь рядом с собой на подушку. Касимова очень тронули эти скромные подарки. Он бережно положил свертки в свой вещмешок и, стараясь не нарушать утренней тишины, осторожно перешагнул порог гостеприимного дома.

* * *

Военкомат гудел незатихающей жизнью. Касимова, похоже, уже ожидали и сразу же включили в общий ритм формирования подразделений эшелона, готовящегося к отправке на фронт.

Начальник эшелона Шульженко приказал принять под командование один из взводов первой роты в количестве пятидесяти человек. Взвод состоял в основном из казахов Иргизского района и располагался в железнодорожном клубе. Касимов познакомился с личным составом своего взвода и назначил четырех командиров отделений: Карашев, Куламанов, Корсаков, Урекашев. Потом отозвал их в сторону, объяснил свои установки по дисциплине и военной учебе.

Несколько дней было отведено на изучение основных положений воинских уставов, строевые занятия, ознакомление с правилами воинских перевозок по железной дороге. Накануне погрузки призывников отвели в баню и там переодели в военное обмундирование. Непривычная военная одежда ошарашила новичков, и они с изумлением смотрели друг на друга, пытаясь приспособиться к полученной ими форме.

Погрузка личного состава в эшелон происходила вечером. Вагоны оказались необорудованными. Свой вагон за № 516710 взводу Касимова пришлось обживать всю ночь: конопатили дыры, набивали гвозди, заготовливали уголь для печурки, несли караул по охране эшелона. В предотъездной суете прошел весь последний день. Касимову даже некогда было забежать к товарищам в свою «заградиловку».

Вечером прозвучала команда «По вагонам!». Командиры проверяли наличие личного состава и докладывали в штабной вагон о готовности своих подразделений к отправке эшелона. Касимов увидел, как вдоль путей быстрым шагом приближаются к его вагону Елисеев, Крохмалёв и Невеличка. Он спустился вниз и под взглядом бойцов попал в их дружеские объятия.

– Дружище! Пусть наша земля и родное небо берегут тебя и твоих новых товарищей на трудном боевом пути. До победы путь еще далек, но она непременно будет. Это мы ясно видим по успешному наступлению наших войск под Сталинградом. И как говорится: не поминай нас лихом, мысленно мы всегда с тобою.

Гудок паровоза и последние команды, прокатившиеся от штабного вагона, прервали их объятия. Касимов привычно вскочил в вагон и оглянулся. Его друзья по «заградиловке» стояли подтянутые, плечом к плечу. Эшелон медленно тронулся, постукивая на стыках рельс. Бойцы из эшелона и провожающие их люди замахали руками в знак расставания, на лицах женщин появились слезы. Поезд начал ускорять ход, знакомый силуэт актюбинского вокзала уплывал на юг.

Касимов с грустью смотрел на слабые огоньки низеньких домов городской окраины и раскрывающуюся даль казахстанской степи. Через четверть часа состав прогрохотал мимо ферм железнодорожного моста, переброшенного через мелководную речушку. В период весеннего половодья эта речушка на целую неделю внезапно становилась огромной полноводной рекой, несущей неведомо откуда взявшиеся глыбы льда. Половодье грозило снести мост и стоящие на берегу дома и бараки рабочего поселка. Пожарные команды города срочно мобилизовались на спасение моста и эвакуацию населения прибрежных домов.

Следом на фоне темнеющего неба возник силуэт мощного металлургического комбината. Он являлся главным предприятием Актюбинска. Завод входил в перечень важнейших предприятий страны, предназначенных для обеспечения фронта высококачественным металлом. Завод еще строился, но уже начал выпуск своей продукции. На строительстве завода работали заключенные одного из местных лагерей ГУЛАГа, а также пленные немцы. Стройка находилась под постоянным контролем Совнаркома страны и органов НКВД.

Железная дорога проходила вблизи металлургического комбината. Внезапно ночную тишину огласил мощный рев сирены, разнесшийся на несколько километров вокруг. Это завод призывал очередную смену рабочих к заступлению на ночную вахту. Работа на заводе велась круглосуточно. Почти следом, как бы в продолжение затихающего гула сирены, ночные сумерки прорезали яркие полыхающие лучи – это в плавильном цеху завода начинался выпуск новой плавки феррохрома.

Взгляды Касимова и всех бойцов эшелона устремились на гудящий цех завода и на яркие блики, исходящие от него по всему небосводу.

Город жил, город трудился, город работал для фронта, для Победы!..

Деркаченко Константин Иванович (1903–1980) родился в Кронштадте в семье морского офицера. Литературную деятельность начал в Петрограде в 1922 году с публикаций в «Красной газете» под псевдонимом Антоний Касимов. Активно сотрудничал с такими литераторами, как И. Садофьев, В. Саянов, А. Чуркин, Вл. Соловьев, О. Берггольц, К. Федин, А. Прокофьев и другими.

До войны поэт дважды подвергался репрессиям. В 1935 году вместе с женой и малолетним сыном был сослан в Казахстан, где вплоть до реабилитации в 1957 году ему была запрещена любая литературная и общественная деятельность. В первые же дни войны К. Деркаченко вступил в полк народного ополчения. Готовил кадры для фронта, пройдя путь от командира отделения до командира батальона военно-учебного пункта Актюбинского горвоенкомата. В 1942 году был назначен помощником военного коменданта железнодорожной станции.

Участвовать непосредственно в боевых действиях поэт начал осенью 1943 года в боях по освобождению Донбасса. Был командиром пулеметного расчета. В боях на Северном Донце был ранен. После излечения прошел снайперские курсы. На боевом счету старшины Деркаченко – полсотни уничтоженных врагов. Вместе с войсками 3-го Украинского фронта он прошел боевой путь через Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, вплоть до австрийского города Грац. Был награжден орденом Славы III степени.

Вернувшись с фронта в Актюбинск, поэт пытается заняться литературной и общественной деятельностью, но мрачная тень прошлого возникает вновь и вновь. Боевые заслуги К. Деркаченко на фронте не интересуют партийных чиновников. И вскоре его активность была резко остановлена указующей репликой из горкома партии.

С 1964 года и до конца жизни он выполнял обязанности общественно-выборного секретаря межобластного отделения Союза писателей Казахстана по Актюбинской области, уделяя много времени и труда воспитанию молодого поколения. Часто выступал с беседами и чтением своих стихов в домах культуры и учебных заведениях, в колхозах и совхозах области, в воинских частях, организовывал литературно-музыкальные вечера, выступал по областному радио и телевидению. Даже будучи тяжело больным, он не прекращал эту работу. За свою инициативную деятельность поэт награжден рядом почетных знаков, почетной грамотой Госкомитета по печати при Совете Министров СССР и др.

Константин Иванович Деркаченко похоронен в Актюбинске, одна из улиц которого названа его именем.

Стихи поэта время от времени появлялись на страницах периодической печати, в том числе и в журнале «Простор». При жизни Константин Иванович опубликовал пять небольших сборников, еще две книги избранных стихов были изданы в Казахстане уже после его смерти. Однако значительная часть произведений К. Деркаченко так и не дошла до широкого круга читателей, а для российских любителей поэзии его творчество, к великому сожалению, осталось фактически неизвестным.

Повесть «Заградиловка», любезно предоставленная нам сыном поэта – Виктором Деркаченко, не была завершена и ранее не публиковалась.

